

В.В. Кожин

## [Любовь в жизни Ф.И. Тютчева]

Отрывки из книги

### Глава четвертая. Германия

<...>

Речь идет о любви, о чувстве, или, вернее, стихии, занявшей в бытии и сознании Тютчева совершенно исключительное место. Трудно найти человека, которого любовь захватывала и потрясала в такой же степени, как Тютчева: он отдавался ей всей полнотой своего существа.

На седьмом десятке поэт пишет дочери Дарье (уже также далеко не юной и так и не вышедшей замуж):

«Тебе, столь любящей и столь одинокой... — с крайней откровенностью говорит Тютчев, — тебе, кому я, быть может, передал по наследству это ужасное свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду любви, которая у тебя, мое бедное дитя, осталась неутоленной».

Многое из того, что произошло с Тютчевым, движимым этой жаждой, — и о чем нельзя умолчать, — может вызвать и недоумение, и даже прямое осуждение. Но не будем делать поспешных выводов; прежде нужно взглядеться во всю долгую, сложную и противоречивую, но по-своему единую историю тютчевской любви.

Впрочем, сразу же уместно сказать, предваряя все дальнейшее, что, полюбив, Тютчев уже не умел, не мог разлюбить. Любимая женщина являла для него как бы полнозвучное воплощение целого мира. Это ясно запечатлелось в его стихотворении о той, которую мы знаем как первую любовь Тютчева и которая, если исходить из свидетельства его поэзии, была вместе с тем и последней его любовью. Оговорка «мы знаем» нужна здесь потому, что Тютчев пережил свои первые увлечения еще в России, до отъезда в Германию, но нам о них ничего не известно.

Вскоре после приезда в Мюнхен, по-видимому, весной 1823 года, Тютчев влюбился в совсем еще юную Амалию фон Лерхенфельд. К концу 1824 года его любовь достигла высшего накала, что выразилось в написанном тогда стихотворении, которое многие исследователи жизни поэта вполне основательно считают обращенным к шестнадцатилетней Амалии, — «Твой милый взор, невинной страсти полный...»:

...для меня сей взор благодаянье:  
Как жизни ключ, в душевной глубине  
Твой взор живет и будет жить во мне:  
Он нужен ей, как небо и дыханье.

А в 1833 году Тютчев, уже давно женатый на другой, написал одно из обаятельнейших своих стихотворений, которым, по-видимому, отметил (это было для него характерно) десятую годовщину своей влюбленности в Амалию, воссоздав поразившую его душу встречу с ней:

Я помню время золотое,  
Я помню сердцу милый край.  
День вечерел; мы были двое;  
Внизу, в тени, шумел Дунай.  
  
И на холму, там, где, белея,  
Руина замка в дол глядит,  
Стояла ты, младая фея,  
На мшистый опершись гранит,

Ногой младенческой касаясь  
Обломков груды вековой;  
И солнце медлило, прощаясь  
С холмом, и замком, и тобой.

И ветер тихий мимолетом  
Твоей одеждою играл  
И с диких яблонь цвет за цветом  
На плечи юные свевал...

Здесь выразилось то, что было, по-видимому, главным для Тютчева: его возлюбленная предстает как центр, как своего рода средоточие целого прекрасного мира.

Амалия была одарена редкостной, уникальной красотой. Ею восхищались позднее такие разные люди, как Генрих Гейне (он назвал ее «Божественной Амалией», «сестрой» Венеры Медицейской), Пушкин, Николай I. Баварский король Людвиг I заказал портрет Амалии для собираемой им галереи европейских красавиц.

Взаимоотношения Амалии с Тютчевым, продолжавшиеся целых полвека, говорят о том, что она сумела оценить поэта и его любовь. Но она или не смогла, или не захотела связать с ним свою судьбу. Из стихотворения 1824 года можно заключить, что имелись какие-то решительные противники этой любви. Поэт обращается к юной возлюбленной:

Твой милый взор, невинной страсти полный,  
Златой рассвет небесных чувств твоих  
Не мог — увь! — умилоствить их —  
Он служит им укрою безмолвной.

Сии сердца, в которых правды нет,  
Они, о друг, бегут, как приговора,  
Твоей любви младенческого взора,  
Он страшен им, как память детских лет...

До нас дошли неясные сведения о драматических перипетиях начала 1825 года, когда Тютчев едва не оказался участником дуэли (неизвестно с кем, но явно в связи со своей любовью к Амалии) и должен был уехать из Мюнхена, уволившись в отпуск.

За время отсутствия Тютчева Амалия обвенчалась с его сослуживцем, бароном Александром Сергеевичем Крюднером, который тогда же стал первым секретарем русской миссии в Мюнхене (Тютчев числился в то время всего лишь сверхштатным чиновником при этой миссии). Крюднер, впоследствии русский посол в Швеции, был на семь лет старше Тютчева и являл собою, конечно, гораздо более «надежного» супруга, чем Тютчев.

Для понимания ситуации нужно знать, что Амалия лишь считалась дочерью видного мюнхенского дипломата графа Максимилиана фон Лерхенфельд-Кеферинга (в 1833–1838 годах он был баварским посланником в Петербурге). На самом же деле она была внебрачной дочерью прусского короля Фридриха-Вильгельма III и княгини Турн-и-Таксис (и являлась, таким образом, сводной сестрой другой дочери этого короля — русской императрицы, супруги Николая I Александры Федоровны).

Королевская дочь, да еще к тому же ослепительная красавица, Амалия явно стремилась добиться как можно более высокого положения в обществе. И ей это удалось. Муж ее, барон Крюднер, сделал карьеру и занял ответственный пост в Министерстве иностранных дел. Уже в 1830-х годах Амалия играет первостепенную роль в Петербургском свете, пользуется громадным влиянием при дворе. После смерти Крюднера, который был двенадцатью годами старше ее, Амалия вышла замуж за финляндского губернатора и члена Государственного совета графа Н. Адлерберга, бывшего к тому же сыном всесильного министра двора. В то время ей исполнилось сорок шесть лет, но она все еще оставалась красавицей, и, между прочим, новый муж был моложе ее на одиннадцать лет...

При всем том Тютчев, который довольно часто встречался и обменивался письмами с Амалией и был очень проницательным человеком, едва ли ошибался, говоря о ней следующее:

«У меня есть некоторые основания полагать, что она не так счастлива в своем блестящем положении, как я того желал бы. Какая милая, превосходная женщина, как жаль ее. Столь счастлива, сколь она того заслуживает, она никогда не будет».

Поставив многое на карту ради «карьеры», Амалия все же сохранила живую душу. Об этом ясно свидетельствует ее отношение к Тютчеву. Много раз и совершенно бескорыстно (ведь Тютчеву нечем было ей отплатить) она оказывала поэту очень важные услуги. Это сильно смущало его. В 1836 году он сказал об одной из таких ее услуг:

«Ах, что за напасть! И в какой надо было мне быть нужде, чтобы так испортить дружеские отношения! Все равно, как если бы кто-нибудь, желая прикрыть свою наготу, не нашел для этого иного способа, как выкроить панталоны из холста, расписанного Рафаэлем... И, однако, из всех известных мне в мире людей она, бесспорно, единственная, по отношению к которой я с наименьшим отвращением чувствовал бы себя обязанным».

Позволительно усомниться, что Тютчева так уж безнадежно огорчали заботы Амалии о нем: ведь они как бы подтверждали ее неизменную глубокую симпатию. В 1836 году он полушутливо-полусерьезно просит своего тогдашнего друга Ивана Гагарина: «Скажите ей, что если она меня забудет, ее постигнет несчастье». Но Амалия не смогла забыть Тютчева. Сам же он продолжал ее любить всегда, хотя это была уже скорее нежная дружба, чем любовь. В 1840 году он писал родителям об очередной встрече с ней в окрестностях Мюнхена:

«Вы знаете мою привязанность к госпоже Крюднер и можете легко себе представить, какую радость доставило мне свидание с нею. После России это моя самая давняя любовь... Она все еще очень хороша собой, и наша дружба, к счастью, изменилась не больше, чем ее внешность».

Дружба-любовь длилась всю жизнь. В 1870 году, невзначай встретившись с Амалией в курортном Карлсбаде (ныне — Карловы Вары), Тютчев создал знаменитые стихи:

Я встретил вас — и все былое  
В отжившем сердце ожило...

А весной 1873 года, ровно через пятьдесят лет после воспетой им встречи над Дунаем, Тютчев — уже на самом пороге смерти, — писал дочери Дарье:

«Вчера я испытал минуту жгучего волнения вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей доброй Амалией Крюднер, которая пожелала в последний раз повидать меня на этом свете и приезжала проститься со мной...»

Едва ли будет натяжкой предположение, что Тютчев значил в судьбе прекрасной Амалии никак не меньше, а, может быть, и больше, чем она в судьбе поэта. Среди постоянных и, конечно, очень напряженных забот о своем высоком положении, поглощавших жизнь Амалии, Тютчев был для нее, надо думать, ярчайшим воплощением всего того в мире, ради чего вообще стоит жить.

Но, конечно, и для Тютчева, любовь которого всегда вбирала в себя всю полноту его личности, Амалия оставалась живым выражением прошедшего, расцветшего в Германии «великого праздника молодости». Он и говорит об этом в стихотворении о встрече 1870 года:

Так, весь обвеян дуновеньем  
Тех лет душевной полноты...

Мы забежали далеко вперед, но лишь для того, чтобы вернее увидеть своеобразие души поэта: обретя любовь, он действительно уже не мог изжить это чувство.

Однако возвратимся к тому, без сомнения, очень тяжкому для Тютчева времени, когда Амалия обвенчалась с другим. В мае 1825 года Тютчев уехал из Мюнхена и затем

провел более полугодом в России. Он возвратился в Мюнхен в феврале 1826 года. Неизвестно, когда узнал Тютчев о свадьбе Амалии, но легко представить себе его тогдашнюю боль и отчаяние.

И вот, удивительно скоро, 5 марта того же 1826 года, он женился на Элеоноре Петерсон, урожденной графине Ботмер. Это был во многих отношениях необычный, странный брак. Двадцатидвухлетний Тютчев тайно обвенчался (еще и через два года многие в Мюнхене, по свидетельству Генриха Гейне, не знали об этой свадьбе) с совсем недавно овдовевшей женщиной, матерью трех сыновей в возрасте от одного до семи лет, к тому же с женщиной, которая была на шесть лет старше его; принимая во внимание сугубую молодость Тютчева, это не могло не быть заметным. (Тот же Гейне писал об Элеоноре в 1828 году: «Уже не очень молодая...») Стоит еще добавить, что, согласно основательному суждению одного из биографов поэта, К. Пигарева, «серьезные умственные запросы были ей чужды». Даже через десять лет, в 1836 году, тогдашний мюнхенский начальник Тютчева, Г.И. Гагарин, очень ему благоволивший, писал о тяжелых последствиях «неприятного и ложного положения, в которое он поставлен своим роковым браком».

Правда, «в пользу» этого брака говорит то, что Элеонора была полной обаяния женщиной, о чем свидетельствуют и посвященные ей стихи Тютчева, и ее портреты (кстати сказать, заметив, что Элеонора «уже не очень молодая», Гейне продолжил характеристику: «но бесконечно очаровательная»).

И все же — не слишком ли неожиданная избранница для молодого поэта эта почти тридцатилетняя вдова с тремя детьми? Многозначительно и то, что брак долго держали в тайне. Не естественно ли будет предположить, что Тютчев решился на эту женитьбу главным образом ради спасения от мук и унижения, вызванных утратой истинной своей возлюбленной?

Но так или иначе Тютчев не совершил ошибку. Элеонора беспредельно полюбила его. В 1837 году Тютчев говорит в письме к родителям:

«...Эта слабая женщина обладает силой духа, соизмеримой разве только с нежностью, заключенной в ее сердце... Я хочу, чтобы вы, любящие меня, знали, что никогда ни один человек не любил другого так, как она меня... Не было ни одного дня в ее жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня. Это способность очень редкая и очень возвышенная, когда это не фраза».

Возможно, что Тютчев поначалу искал в женитьбе спасения от своей тоски и горечи. Но поэту — это не раз подтвердилось — было присуще столь могучее, глубокое и всеобъемлющее чувство благодарности, что он и сам всем сердцем полюбил Элеонору — и опять-таки навсегда.

С этим могут поспорить, ибо как-то принято думать, что «любовь из благодарности» — чувство, так сказать, искусственное и заведомо легковесное. Но такое мнение основывается на смутном и формальном представлении о том, что есть чувство благодарности. Подлинная, исходящая из самой глубины человека (а не внешняя, рассудочная) благодарность — это высочайшее и крайне редко встречающееся чувство, доступное только немногим, действительно «избранным» натурам, хотя бы уже потому, что оно, это чувство, подразумевает предельную духовную скромность и смирение (а эти черты были в высшей степени присущи Тютчеву). Быть истинно благодарным — это значит, в частности, признавать безусловное превосходство другого человека, признавать его наделенность благодатью, которая, собственно, и вызывает подлинное чувство благодарности. Все это Тютчев высказал в стихотворении, посвященном Элеоноре, стихотворении, написанном тогда, когда прошло уже более тридцати лет со дня их свадьбы и ровно двадцать лет — со дня смерти Элеоноры:

В часы, когда бывает  
Так тяжело на груди,

И сердце изнывает,  
И тьма лишь впереди, —

(можно подумать, что Тютчев прямо говорит здесь о времени, когда он потерял Амалию. А дальше — об Элеоноре)

Вдруг солнца луч приветный  
Войдет украдкой к нам  
И брызнет огнецветной  
Струею по стенам,

И с тверди благосклонной,  
С лазуревых высот  
Вдруг воздух благовонный  
В окно на нас пахнет

Уроков и советов  
Они нам не несут,  
И от судьбы наветов  
Они нас не спасут

Но силу их мы чуем,  
Их слышим благодать,  
И меньше мы тоскуем,  
И легче нам дышать

Так мило-благодатна,  
Воздушна и светла  
Душе моей стократно  
Любовь твоя была

Итак, ее любовь была для Тютчева подобна благодатному лучу солнца и воздуху — верховным ценностям, которые и способны родить подлинную благодарность и истинную любовь к той, кто дарит эти ценности. Воспринять чувство другого человека как бесценный дар, подобный солнечному лучу и самому воздуху, способен далеко не всякий. Иван Аксаков, прекрасно знавший Тютчева, восхищенно говорил:

«Способность Тютчева отвлекаться от себя и забывать свою личность объясняется тем, что в основе его духа жило искреннее смирение: однако ж не как христианская высшая добродетель, а, с одной стороны, как прирожденное личное и отчасти народное свойство... с другой стороны, как постоянное... сознание своей личной нравственной немощи».

Словом, истинное чувство благодарности подразумевает способность отречься от себя и признать бесценность другого.

Вместе с тем дар любви, который обрел Тютчев, не был, так сказать, незаслуженным. С полным правом можно сказать, что Тютчев был всецело достоин такой любви, уже хотя бы и потому, что, как никто, умел быть благодарным за нее...

Тютчев прожил с Элеонорой двенадцать лет, до ее драматической преждевременной смерти. Первые семь лет, до 1833 года, были временем почти безоблачного семейного счастья. Тютчев не раз вспоминал об этих годах, как об утраченном рае. В 1846 году он рассказывал дочери Анне, родившейся в 1829 году:

«...И я был молод! Если бы ты видела меня за пятнадцать месяцев до твоего рождения... Мы совершили тогда путешествие в Тироль... Как все было молодо тогда, и свежо, и прекрасно! А теперь это лишь сон. И она также, она, которая была для меня жизнью, — больше, чем сон: исчезнувшая тень. А я считал ее настолько необходимой для моего существования, что жить без нее мне казалось невозможным, все равно как жить без головы на плечах...

Первые годы твоей жизни, дочь моя... были для меня самыми прекрасными, самыми полными годами страстей... эти дни были так прекрасны, мы были так счастливы! Нам казалось, что они не кончатся никогда, — так богаты, так полны были эти дни. Но годы промелькнули быстро, и все исчезло навеки... И она также... И все-таки я обладаю ею, она вся передо мною, бедная твоя мать!»

Через два года, к десятой годовщине смерти Элеоноры, Тютчев воплотил в стихах свою дрящущую любовь к ней, хотя давно уже был женат на другой:

Еще томлюсь тоской желаний,  
Еще стремлюсь к тебе душой —  
И в сумраке воспоминаний  
Еще ловлю я образ твой...

Твой милый образ, незабвенный,  
Он предо мной везде, всегда,  
Недостижимый, неизменный,  
Как ночью на небе звезда...

Элеонора была дочерью графа Теодора Ботмера, принадлежавшего к одной из самых родовитых баварских фамилий, как, впрочем, и ее мать, урожденная баронесса Ганштейн. Еще совсем юной Элеонора вышла замуж за русского дипломата, поверенного в делах в Веймаре, Александра Петерсона и прожила с ним около семи лет, до его кончины. Уже тогда она сблизилась с Россией, и едва ли случайно трое ее сыновей от первого брака стали впоследствии русскими морскими офицерами (Тютчев хорошо знал и ценил своих пасынков). В 1830 году Элеонора провела полгода в России, где ее сердечно приняла вся семья Тютчевых.

В Мюнхене Элеонора сумела создать уютный и гостеприимный дом, хотя при очень скромном жалованье Тютчева и сравнительно небольшой денежной помощи его родителей ей едва удавалось сводить концы с концами. И все же начальные семь лет этого супружества были самой счастливой порой в жизни Тютчева. Даже спустя несколько десятилетий он почти умиленно вспоминал об этой жизни. Он писал дочери Анне о дне ее появления на свет через почти сорок лет после 21 апреля 1829 года: «Ты была так тиха и сосредоточена, что твоей матери пришлось самой обратить мое внимание на то, что означает маленький сверток, который лежит в ее ногах...» Тютчев, как всегда, сетует на то, что все поглощает забвение, что ничего «не осталось у меня от впечатлений этого первого воскресенья твоей жизни, кроме воспоминания о прекрасном весеннем солнце и теплом, мягком ветре, который веял в этот день в первый раз». Но память, очевидно, удержала в себе главный колорит того времени.

Годы, о которых впоследствии с такой радостью и скорбью — скорбью о том, что они безвозвратно миновали, — вспоминал Тютчев, были не только временем семейного счастья. Именно в течение этих лет Тютчев достиг духовной и творческой зрелости, стал великим поэтом и мыслителем.

<...>

## Глава шестая. Между Европой и Россией

<...>

Можно представить себе, в каком нелегком состоянии духа приближался Тютчев к своему тридцатилетию — поре расцвета. Неудачи и тяготы со всех сторон, во всех сферах — в политической деятельности и служебной карьере, в литературе (обнародование целого ряда зрелых творений Тютчева не нашло отклика) и домашнем быту.

В этих условиях (они, конечно, ни в коей мере не являются «оправданием», но, во всяком случае, могут многое сделать понятным) Тютчев весь отдается своей новой любви...

В феврале 1833 года на одном из балов приятель Тютчева, баварский публицист Карл Пфедфель, знакомит его со своей сестрой, двадцатидвухлетней красавицей Эрнестиной и ее уже пожилым мужем бароном Дёрнбергом, месяц назад приехавшими в Мюнхен. Эрнестина, успевшая покорить мюнхенский свет красотой и искусностью в танцах, произвела сильное впечатление на Тютчева. К тому же произошла странная история: Дёрнберг почувствовал нездоровье и покинул бал, сказав на прощанье Тютчеву: «Поручаю вам свою жену», — а через несколько дней скончался...



После смерти мужа Эрнестина уехала из Мюнхена, но вскоре вернулась. И началась та любовь, которая, вероятно, была своего рода выходом, спасением для Тютчева, потерпевшего поражение чуть ли не во всем, — и в то же время принесла ему немало тяжких страданий. Он явно не мог ради новой любви не только расстаться с Элеонорой, но и даже — как мы увидим — разлюбить ее. И в то же время он не имел сил разорвать отношения с Эрнестиной. И это не могло остаться тайной.

Уже 2 июля 1833 года Элеонора сообщает Николаю Тютчеву о состоянии мужа:

«Он, как мне кажется, делает глупости или что-то близкое к ним... Только не вздумайте принимать всерьез то, что, слава Богу, только шутка. Единственное, о чем я действительно думаю, это что Федор легкомысленно позволяет себе маленькие светские интрижки, которые, как бы незначительны они ни были, могут неприятно осложниться. Я не ревнива, и у меня для этого как будто нет оснований, но я беспокоюсь, видя, как он уподобляется сумасбродам; при таком поведении поступок человека не может быть достаточно уверенной».

Но не проходит и двух месяцев, как Элеонора пишет тому же Николаю в совсем ином духе:

«Федор... не то, чтобы болен, — чувствует он себя как обычно, но есть в нем какой-то нравственный недуг, который, как мне кажется, развивается быстро и страшно... Отвращение ко всему, невероятная разочарованность в мире и, главное, в самом себе, это — что пугает меня больше всего, — то, что сам он называет навязчивой идеей. Самая безумная, самая абсурдная идея, которую можно себе представить, мучает его до лихорадки, до слез».

В конце этого драматического 1833 года произошло печальное событие, о котором Тютчев писал позднее:

«Принявшись как-то в сумерки разбирать свои бумаги, я уничтожил большую часть моих поэтических упражнений и заметил это лишь много спустя».

Поэт рассказал о своем поступке как о результате рассеянности, но не исключено, что это было актом самосожжения, — пусть хотя бы даже полуосозанным... Такой поступок вполне соответствовал бы общему состоянию его духа в то время.

По-видимому, Тютчев тогда расстался с Эрнестиной Дёрнберг. Точно известно, что 1 мая 1834 года она уехала в Париж; может быть, она бежала от своей любви. Но Тютчев постоянно приходил к ее брату Карлу, чтобы расспрашивать о ней.

В начале июля Тютчев неожиданно приезжает в городок Эглофсгейм, где жил тогда Карл Пфеффель, — приезжает с надеждой, что сестра живет вместе с ним; но ее там не было. В записных книжках князя Вяземского, в октябре 1834 года захватившего в Мюнхен, есть упоминание о «вдовушке черноглазой» Дёрнберг, но об ее тогдашних встречах с Тютчевым ничего не известно.

Эрнестина Дёрнберг родилась в 1810 году. Отец ее, эльзасский барон Христиан Пфеффель, был баварским дипломатом, послом в Лондоне, а затем в Париже. Мать Эрнестины — также из эльзасского рода графов Теттенборнов. Как это вообще характерно для тогдашнего Эльзаса, семья существовала на пересечении германских и французских традиций и веяний. К тому же Эрнестина воспитывалась в парижском пансионе. Семья была причастна высокой культуре; брат деда Эрнестины, Конрад Пфеффель, умерший за год до ее рождения, был значительным писателем (особенно славились его басни). Брат Эрнестины, Карл Пфеффель, стал видным мюнхенским публицистом, постоянно сотрудничавшим в парижских изданиях.

Органически соединяя в себе германское и французское начала, Эрнестина была как бы гармоничным воплощением европейского духа, не греша ни галльской легковесностью, ни тевтонской тяжеловатой серьезностью.

Мать ее рано умерла, и отец женился на гувернантке своих детей, которая оказалась весьма дурной мачехой; Карл и Эрнестина, подобно сказочным Гансу и Гретель, собирались даже убежать из дома. Поэтому Эрнестина при первой же возможности вышла

замуж — без любви и за человека уже немолодого. Но на третий год после свадьбы барон Дёрнберг умер.

Эрнестина Пфеффель сумела понять и оценить Тютчева, вероятно, более, чем кто-либо, — и как человека, и как мыслителя, и как поэта (впоследствии она специально изучила русский язык, чтобы иметь возможность читать тютчевские стихи).

В любви Тютчева и Эрнестины была та *полнота* близости, которой явно недоставало в первом — в какой-то мере случайном, — брачном союзе поэта; в этой любви присутствовало и глубокое духовное взаимопонимание

<...>

8 августа 1837 года Тютчев, пока еще один, без семьи выехал из Петербурга обратно в Европу, к новому месту службы. Прибыв 25 августа в Мюнхен, он задержался здесь на месяц, а в начале октября добрался до Турина.

Сразу же по приезде Тютчев узнал, что у него есть возможность будущей осенью стать здесь на целый год поверенным в делах, то есть обрести возможность самостоятельной деятельности (это осуществилось даже раньше, в июле 1838 года).

Вместе с тем его новое состояние духа, поворотившееся к родине, побуждает Тютчева написать родителям через месяц после приезда в Турин:

«Скажите, для того ли я родился в Овстуге, чтобы жить в Турине? Жизнь, жизнь человеческая, куда какая нелепость!»

В том же письме Тютчев говорит:

«Позвольте мне побеседовать с вами о том, что озабочивает меня более всего на свете и — я могу по справедливости сказать это — ежеминутно в течение целого дня. Я хочу поговорить с вами о жене... Было бы бесполезно стараться объяснить вам, каковы мои чувства к ней. Она их знает, и этого достаточно. Позвольте сказать вам лишь следующее: малейшее добро, оказанное ей, в моих глазах будет иметь во сто крат более ценности, нежели самые большие милости, оказанные мне лично».

Это было, несомненно, выражением глубоко искренних чувств к жене, — что подтверждается и всем последующим.

И все же... все же дней через десять Тютчев выезжает на две недели в Геную, чтобы встретиться там с Эрнестиной...

Правда, есть основания полагать, что это свидание в Генуе было прощанием Тютчева со своей любовью, — о чем и сказано в созданном тогда стихотворении «1-е декабря 1837» (поэт, как это вообще ему было присуще, обращается в этих стихах, очевидно, к самому себе «во втором лице»):

Так здесь-то суждено нам было  
Сказать последнее прости...  
Прости всему, чем сердце жило,  
Что, жизнь твою убив, ее испепелило  
В твоей измученной груди!..

Прости... Чрез много, много лет  
Ты будешь помнить с содроганьем  
Сей край, сей брег с его полуденным сияньем,  
Где вечный блеск и долгий цвет,  
Где поздних, бледных роз дыханьем  
Декабрьский воздух разогрет.

Здесь же Тютчев написал стихи об итальянской вилле, сонный покой которой смутила

Та жизнь — увы! — что в нас тогда текла,  
Та злая жизнь, с ее мятежным жаром...

Оба эти глубоко личные стихотворения поэт сразу же передал в «Современник», где они и были вскоре опубликованы. Можно подумать, что Тютчев стремился тем самым как



бы закрепить, утвердить свое «прости». Вероятно, по обоюдному согласию поэт и его возлюбленная решили навсегда расстаться, убить все то, «чем сердце жило».

Правда, в марте 1838 года Тютчев, по всей вероятности, еще раз виделся с Эрнестиной. По просьбе Эрнестины ее подруга Иполита Рехберг сделала тогда известный акварельный портрет Тютчева. Но, по-видимому, именно в создании портрета, который Эрнестина Дёрнберг затем хранила как память о возлюбленном, и заключался смысл этой встречи.

Сказав свое «последнее прости» Эрнестине, Тютчев всем существом обращается к семье. В письме от 13 декабря 1837 года он пишет жене:

«Запоздание твоих писем заставляет меня переживать тяжелые минуты... Нет ни одной минуты, когда я не ощущал бы твоего отсутствия. Я никому не желал бы испытать на собственном опыте всего, что заключают в себе эти слова».

Ранее Тютчев послал жене несколько очень пространных писем, — целых «томов», как он выражается (они, к сожалению, не дошли до нас). По всему видно, что он твердо решил возродить свою потрясенную в 1833–1836 годах семейную жизнь.

Это явствует, в частности, из того, что Тютчев тогда же начинает хлопотать о назначении его курьером в Россию. Прошло всего около полугода, как он расстался в Петербурге с семьей, а разлука уже становится для него невыносимой. Он не может дожидаться весны, когда семья должна приехать в Турин.

Отсрочка приезда тютчевской семьи в Турин объяснялась вполне прозаически — не было денег для весьма дорогостоящего путешествия на лошадях и приходилось ждать весенней навигации, чтобы отправиться из Петербурга на пароходе. Получив от Тютчева сообщение о его намерении вернуться в Россию, Элеонора 15 декабря 1837 года пишет брату поэту Николаю:

«Вы один можете говорить с ним и вразумить его; ради Бога, напишите ему немедленно, заставьте его понять, что его болезненное воображение сделало из всей его жизни припадок горячки. О Николай, мое сердце разрывается при мысли об этом несчастном. Никто не понимает, не может себе представить, как он страдает, а говорить, что это по *его собственной вине*, это значит укором заменить сострадание».

Тут же она добавляет:

«Если бы у меня был хороший экипаж и деньги, эти проклятые деньги, я поехала бы к нему».

Зная все события предшествующих лет, нельзя не преклониться перед этим выражением чувства, которое в высокой степени присуще германским натурам и обозначается словом «*Treue*» (слова «верность» или «преданность», употребляемые для перевода, не вполне ему соответствуют). Элеонора говорит в том же письме к Николаю Тютчеву:

«Я вам так мало сказала, но тем не менее я знаю, что вы понимаете, что такое моя жизнь; я бы охотно пожертвовала половиной ее для того, чтобы другая стала спокойна и безмятежна, но этого ничем нельзя купить...»

Тютчев тогда или не добился назначения курьером в Петербург, или же сам, побуждаемый женой, решил отказаться от неразумного путешествия (ведь вскоре все равно надо было бы возвращаться в Турин) и стал ждать приезда семьи.

14 мая 1838 года Элеонора с тремя малолетними дочерьми (Анне было девять лет, Дарье — четыре, Екатерине — два с половиной года) села на пароход, направлявшийся из Кронштадта в Любек. Среди почти трехсот пассажиров парохода были Петр Вяземский и молодой Иван Тургенев.

Уже вблизи Любека в ночь с 18 на 19 мая, на пароходе вспыхнул пожар. Через сорок пять лет, перед самой своей смертью, Тургенев подробно описал эту поистине страшную ночь в очерке «Пожар на море». Погасить пламя не было возможности. Капитан нашел спасительное решение: устремил корабль к скалистому берегу у местечка Эльменхорст

и посадил его на мель, а затем пассажиры кое-как переправились на берег. Пароход сгорел дотла, но погибли всего пять человек. Элеонора Тютчева (Тургенев упоминает в своем очерке как «госпожу Т...», без сомнения, именно ее), спасая своих детей, испытала тяжелейшее нервное потрясение. Она писала на другой день после спасения сестре Тютчева Дарье:

«Дети невредимы! — только я пишу вам ушибленной рукой... Никогда вы не сможете представить себе эту ночь, полную ужаса и борьбы со смертью!»

Добравшись до Гамбурга, Элеонора вынуждена была пробыть здесь около двух недель, не имея сил двинуться в дорогу к мужу. Врачи опасались за ее жизнь.

Лишь 30 мая французские газеты, сообщающие о гибели русского парохода, на котором, как точно знал Тютчев, плывет его семья, дошли до Турина. О судьбе пассажиров не было ни слова. Потрясенный Тютчев немедленно выехал в Германию. Добравшись до Мюнхена к 4 июня, он узнал, что его семья спасена. Его ожидало здесь письмо жены, извещавшее о том, что она с детьми выезжает в Мюнхен.

Пробыв в Мюнхене около месяца, Тютчев с женой, оставив пока детей у родственников Элеоноры, отправляется в Турин. С 22 июля он приступил к исполнению обязанностей поверенного в делах в Сардинском королевстве.

Жизнь Тютчевых в Турине была очень нелегкой. Приходилось устраиваться заново в совершенно чужом городе, к тому же при крайнем недостатке средств. Во время пожара на пароходе, как писала Элеонора, «все потеряли всё — бумаги, деньги, вещи». Семье было предоставлено правительственное пособие, но его не хватало на самое необходимое. Элеонора писала родителям Тютчева:

«Только несколько дней тому назад нашли дом. Жить будем в пригороде... так как квартиры здесь много дешевле. Теперь надо меблироваться, и я нахожусь в поисках торгов и случайных вещей, но купить ничего не могу по той простой причине, что у нас нет денег... Банкир выдал Федору вперед его жалованье за сентябрь, и на это мы живем...»

Все это окончательно надломило здоровье Элеоноры, и достаточно было сильной простуды, чтобы оборвать ее жизнь. 27 августа 1838 года, в возрасте сорока лет она скончалась на руках мужа, — по словам его самого, «в жесточайших страданиях...»

Тютчев в одну ночь поседел от горя. 6 октября он писал Жуковскому — в тот момент находившемуся недалеко от Турина, в итальянском городке Комо, — прося его о свидании:

«Есть ужасные години в существовании человеческом... Пережить все, чем мы жили — жили в продолжение целых двенадцати лет... Что обыкновеннее этой судьбы — и что ужаснее? Все пережить и все-таки жить...»

В несчастье сердце верит, т. е. понимает. И потому я не могу не верить, что свидание с вами в эту минуту, самую горькую, самую нестерпимую минуту моей жизни, — не слепого случая милость. Вы недаром для меня перешли Альпы... Вы принесли с собою то, что после нее я более всего любил в мире: отечество и поэзию».

13 октября Тютчев встретился с Жуковским. На следующий день они плавали на яхте по озеру Комо, и Жуковский записал в дневнике:

«Глядя на север озера, он сказал: “За этими горами Германия”. Он горюет о жене, которая умерла мученической смертью, а говорят, что он влюблен в Мюнхене».

Чувствуется, что для сознания Жуковского это было необъяснимым, темным противоречием. Но через пять лет, в годовщину смерти Элеоноры, Тютчев писал той самой своей другой возлюбленной, мысль о которой смутила душу Жуковского в Комо:

«Сегодняшнее число... печальное для меня число. Это был самый ужасный день в моей жизни, и *не будь тебя*, он был бы, вероятно, и последним моим днем. Да хранит тебя Бог».

Тютчев, конечно, понимал, что сторонние взгляды могут жестоко осудить его, который, едва оправившись от потрясенности смертью жены, весь отдается другой любви. В декабре 1838 года в Генуе состоялась его тайная помолвка с Эрнестиной Пфедфель (Дёрнберг) — об этом не знали даже ближайшие родственники. «Все пережить и все-таки жить...» И, вероятно, это было странно или даже страшно: в той самой Генуе, о которой ровно год назад он писал:

Так здесь-то суждено нам было  
Сказать последнее прости... —

он начинал теперь новую жизнь.

1 марта 1839 года Тютчев подал официальное заявление о своем намерении вступить в новый брак. Май жених и невеста, вместе с ее братом Карлом Пфедфелем, провели во Флоренции. А 17 июля 1839 года Тютчев обвенчался с Эрнестиной Федоровной в Берне, в церкви при русском посольстве... Ему было тридцать пять с половиной лет, ей — двадцать девять. Жизнь его как бы начиналась заново. 23 февраля 1840 года родилась первая дочь Тютчева и Эрнестины Федоровны Мария.

Но пережитая трагедия, с которой не могло не быть связано чувство глубокой вины, конечно, оставалась в душе Тютчева. 1 декабря 1839 года он писал родителям, что «есть вещи, о коих невозможно говорить, — эти воспоминания кровоточат и никогда не зарубцуются».

<...>

В июне 1843 года Тютчев наконец приехал на родину; он должен был это сделать еще весной 1840, но все откладывал свою поездку. Он, в частности, уже собрался совершить эту поездку осенью 1842 года, но, узнав, что Амалия Крюднер намерена провести зиму за границей, решил отложить свой приезд в Петербург. Родителям он сообщил, что ему «необходимо присутствие Амалии в Петербурге».

К тому времени Амалия Крюднер уже обладала огромным влиянием в высших русских сферах, и Тютчев вполне основательно надеялся на ее помощь. Знаменитая Александра Смирнова-Россет, друг Пушкина и Гоголя, а позднее и самого Тютчева, писала в своем дневнике о событиях зимы 1838 года:

«Эта зима была одна из самых блистательных. Государыня была еще хороша, прекрасные ее плечи и руки были еще пышные и полные, и при свечах, на бале, танцуя, она еще затмевала первых красавиц. В Аничковском дворце танцевали всякую неделю в белой гостиной... Государь занимался в особенности баронессой Крюднер, но кокетствовал, как молоденькая бабенка, со всеми и радовался соперничеством Бутурлиной и Крюднер. Я была свободна, как птица, и смотрела на все эти проделки как на театральное представление, не подозревая, что тут развивалось драматическое чувство зависти, ненависти, неудовлетворенной страсти, которая не переступала из границ единственно от того, что было сознание в неискренности Государя. Он еще тогда так любил свою жену, что пересказывал ей все разговоры с дамами, которых обнадеживал и словами и взглядами, не всегда прилично красноречивыми. Однажды в конце бала... мы присели в уголке за камином с баронессой Крюднер ...она была блистательно хороша, но не весела. Наискось в дверях стоял Царь с Е.М. Бутурлиной, которая беспечной своей веселостью более, чем красотой, всех привлекала... Я сказала госпоже Крюднер: “Вы ужинали с Государем, но последние почести сейчас для нее”. — “Он чудак, — сказала она, — нужно, однако, чем-нибудь кончить все это; но он никогда не дойдет до конца, — не хватит мужества; он придает странное значение верности. Все эти уловки с нею не приведут ни к чему”».

Всю эту зиму он ужинал между Крюднер и Мэри Пашковой, которой эта роль вовсе не нравилась... После покойный Бенкендорф заступил место Государя при Крюднерше. Государь нынешнюю зиму [1845 года] мне сказал: “Я уступил свое место другому”».

Из этого рассказа нередко делают вывод, что Амалия Крюднер в конце концов стала любовницей Николая I, а затем Бенкендорфа, — что, конечно, весьма снижает ее образ. Но, во-первых, нельзя забывать следующего. Пушкин, который очень любил Александру Смирнову-Россет, подарил ей в 1832 году альбом для ведения дневника. Он сам озаглавил его «Исторические записки А. О. С.» и предпослал ему стихотворный эпиграф, напи-

санный как бы от имени самой Смирновой, — «В тревоге пестрой и бесплодной...». Но заканчивается это стихотворение так:

И шутки злости самой черной  
Писала прямо набело.

В рассказе об Амалии Крюднер вполне можно видеть именно такую «шутку». К тому же из рассказа отнюдь не следует, что отношения царя с Амалией «дошли до конца». Вместе с тем совершенно очевидно, что Амалия Крюднер, сводная сестра самой царицы, смогла установить самые дружеские отношения и с Николаем I, и с Бенкендорфом. И это открывало перед ней громадные возможности.

В августе 1843 года опальный Тютчев, отставленный от службы и лишенный звания камергера, прибыл в Петербург. Амалия Крюднер устроила ему неофициальную встречу с Бенкендорфом.

## Глава седьмая. Возвращение

<...>

В 1849 году начинается новый расцвет творчества поэта, продолжавшийся более полутора десятилетий. В том же году он приступает к работе над трактатом «Россия и Запад». В следующем, 1850 году началась наиболее глубокая и захватывающая любовь поэта.

Рассказать об этом — чрезвычайно сложная и трудная задача. Проще было объяснить рождение любви поэта к Эрнестине Федоровне, ибо первый его брак, как уже говорилось, имел отчасти случайный характер. Но отношения Тютчева со второй его женой были поистине близки к идеальным.

Потомок и биограф поэта К.В. Пигарев, говоря о последней его любви, заметил:

«С семьей Тютчев не «порывал» и никогда не смог бы решиться на это. Он не был однолюбом. Подобно тому, как раньше любовь к первой жене жила в нем рядом со страстной влюбленностью в Э. Дёрнберг, так теперь привязанность к ней, его второй жене, совмещалась с любовью к Денисьевой, и это вносило в его отношения к обеим женщинам мучительную раздвоенность».

Это едва ли точное объяснение. Во-первых, суть дела, очевидно, не в том, что Тютчев не мог ограничиваться одной любовью, но в том, что он, полюбив, не мог, не умел разлюбить. Не менее важно и другое. Эрнестина Федоровна была для Тютчева поистине единственным, абсолютно незаменимым человеком. Достаточно сказать, что он, с таким трудом писавший письма, писал ей постоянно во время любой, даже недолгой разлуки. Он послал ей 675 писем — значительно более половины всех известных его писем и кратких записок вообще.

31 июля 1851 года, через год после начала его новой любви, Тютчев писал Эрнестине Федоровне из Петербурга в Овстуг, где она тогда жила:

«Я решительно возражаю против твоего отсутствия. Я не желаю и не могу его выносить... С твоим исчезновением моя жизнь лишается всякой последовательности, всякой связности...

Нет на свете существа *умнее* тебя. Сейчас я слишком хорошо это сознаю. Мне не с кем поговорить... мне, говорящему со всеми...»

Через месяц он пишет:

«Ты... самое лучшее из всего, что известно мне в мире...»

Такие признания можно найти в десятках тютчевских писем того времени, и нет ровно никаких оснований усомниться в полной искренности поэта. И позволительно высказать предположение, что, не будь его отношения с женой столь идеальными, он все же «порвал» бы с ней ради другой.

К 1850 году прошло уже семнадцать лет со времени его встречи с Эрнестиной Федоровной и одиннадцать лет с начала их совместной жизни. Выросла большая и, при всех возможных сложностях взаимоотношений, замечательная семья, в которой вполне соединились дочери от первого брака — Анна, Дарья и Екатерина — и дети Эрнестины Федоровны — Мария, Дмитрий и Иван (родившийся в 1846 году).

К 1850 году Анне был двадцать один год, Дарье — шестнадцать, Екатерине — пятнадцать. Начав свою жизнь в Германии, в среде тамошних родственников, они сумели потом стать русскими людьми. Возможно, что именно этот сужденный им в отрочестве переход из одного мира в другой расширил их души, и из них выросли незаурядные, можно даже сказать, выдающиеся личности. Уже в юные годы началось их самое серьезное, самое глубокое общение с отцом, о чем свидетельствуют многочисленные письма поэта ко всем трем дочерям.

В 1845–1851 годах Дарья и Екатерина учились в Смольном институте благородных девиц (Анна получила образование еще в Мюнхене, окончив там в 1845 году Королевский институт; в 1852 году она была назначена, вместе с дочерью Пушкина Марией и дочерью Смирновой-Россет Ольгой, фрейлиной при будущей императрице).

Большое участие в судьбе Дарьи и Екатерины приняла инспектриса института А.Д. Денисьева, которая поначалу (затем ему пришлось изменить свое мнение) очень понравилась Тютчеву: «Госпожа Денисьева, по-видимому, прекрасная особа», — сообщил он родителям в письме, рассказывавшем о поступлении дочерей в Смольный. Тютчев постоянно, часто вместе со старшей дочерью Анной, навещал Дарью и Екатерину в институте и сблизился таким образом с А.Д. Денисьевой.

Смольный заканчивала тогда ее племянница Елена. Она была намного старше Дарьи и Екатерины (первой — на восемь, второй — на девять лет), но дружески покровительствовала девочкам. Сближению способствовало то, что в одном классе с Дарьей и Екатериной учились младшие сестры Елены Денисьевой, Мария и Анна. Позднее Елена сдружилась с Анной Тютчевой, которая была моложе ее всего на три года. Естественно, познакомился с Еленой Денисьевой и сам Тютчев.

Когда поэт впервые увидел Елену Денисьеву, ей было двадцать лет, ему — сорок два года. В течение последующих четырех лет они встречались часто, но отношения их не шли дальше взаимной симпатии.

Есть все основания полагать, что Елена Денисьева долго оставалась для Тютчева не вполне понятной, даже загадочной девушкой. Из подробных воспоминаний, написанных мужем ее сестры Марии А.И. Георгиевским, ясно, что Елена была как бы вся соткана из противоречий. Исключительная живость и свобода характера — подчас даже чрезмерная свобода — сочетались в ней с глубокой и твердой религиозностью; высокая культура поведения и сознания, изящная отточенность жестов и слов вдруг разрывалась резкими, даже буйными, вспышками веселья или гнева.

Георгиевский рассказывает, например, что однажды (было это уже через много лет после начала тютчевской любви), разгневавшись на поэта, «эта любящая, обожающая его и вообще добрейшая Леля пришла в такое неистовство, что схватила со стола первую попавшуюся ей под руку бронзовую собаку на малахите и изо всей мочи бросила ее в Федора Ивановича, но, по счастью, не попала в него, а в угол печки и отбила в ней большой кусок изразца; раскаянию, слезам и рыданиям Лели после того не было конца... Сам Федор Иванович относился очень добродушно к ее слабости впадать в такое иступление... Я никак бы не ожидал ничего подобного от такой милой, доброй, образованной, изящной и высококультурной женщины, как Леля, но Федор Иванович... удостоверять только, что Леля вообще была буйного и в высшей степени вспыльчивого характера».

Не следует забывать, что Тютчев узнал Елену Денисьеву после двадцати с лишним лет жизни на Западе, где он попросту не видел русских женщин, кроме разве европейски отшлифованных жен и дочерей дипломатов.



Елена Денисьева, несмотря на строгий режим Смольного института, сохранила полную непосредственность душевных движений. Этому способствовали сами обстоятельства — она была племянницей инспектрисы, жила в ее квартире при институте, а не в дортуаре для воспитанниц.

Родилась Елена Александровна Денисьева в 1826 году в семье родовитого, но обедневшего дворянина А.Д. Денисьева — майора, участника Отечественной войны. Мать ее рано умерла, отец вскоре женился на другой (младшие сестры Елены, также учившиеся в Смольном, были сводные от второго брака), и сироту взяла к себе сестра отца. Тетка ни в чем не стесняла племянницу, с юных ее лет брала с собой в славившиеся балами, развлечениями и светскими вольностями петербургские дома, где Елена даже надолго оставалась одна в качестве гостыи. Еще до Тютчева у Елены было немало блестящих поклонников и в том числе знаменитый тогда писатель граф Соллогуб.

Но жизнь в таких условиях не разрушила глубокую и страстную натуру, а только развила в Елене вольный артистизм, остроту в общении, придала внешний блеск ее манерам и разговору.

Среди многих своих поклонников, которые с разных точек зрения были гораздо предпочтительнее немолодого отца семейства Тютчева, она все же избрала его.

Первое объяснение произошло 15 июля 1850 года. Ровно через пятнадцать лет Тютчев напишет об этом «блаженно-роковом дне»:

Как душу всю свою она вдохнула,  
Как всю себя перелила в меня.

4 августа поэт вместе с Еленой и старшей своей дочерью Анной (еще не знавшей тогда о любви подруги к отцу) отправился в шестидневное путешествие на пароходе по Неве и Ладожскому озеру до острова Валаам, славного своими древними святынями.

«Наше ночное плавание по Ладожскому озеру было чудесно... — писала тогда же Анна своей тетке Дарье. — В понедельник утром (7 августа) мы прибыли на Коневец; я гуляла с папой в лесу при восходе солнца, затем мы побывали на Конь-камне... Это огромная глыба скалы, находящаяся в пропасти, где язычники когда-то приносили жертвы. Теперь там строят часовню. В пять часов я была на ранней обедне в монастыре... Монахи нас приняли с большим гостеприимством. Нам предоставили две кельи, весьма опрятные. Мы поели, как схимники, ухи, и так как чувствовали себя смертельно усталыми, легли спать. На следующий день, во вторник (8 августа), прослушали обедню и гуляли по острову, очень живописному. Мы познакомились с настоятелем монастыря, очень праведным человеком... Мы, Лелинька [Елена Денисьева] и я, ходили смотреть на юродивого. Вечером того же дня возвратились на Коневец и простояли там всю ночь. Это была еще одна чудесная ночь...»

По возвращении в Петербург Тютчев записал стихотворение, могущее считаться одним из первых среди тех трех десятков, которые он посвятил своей последней любви. В стихотворении, как и в рассказе Анны, ничего не сказано об этой любви, но все же оно кажется проникнутым ею:

Под дыханьем непогоды,  
Вздувшись, потемнели воды  
И подернулись свинцом —  
И сквозь глянец их суровый  
Вечер пасмурно-багровый  
Светит радужным лучом,  
Сыплет искры золотые,  
Сеет розы огневые  
И уносит их поток...  
Над волной темно-лазурной  
Вечер пламенный и бурный  
Обрывает свой венок...

Рождение любви поэта к Елене Денисьевой, очевидно, также имело глубокую внутреннюю связь с его возвращением на родину. Но любовь эта раскрылась во всей своей роковой силе позднее.

### Глава девятая. Поэзия, любовь, политика

Поэзия и любовь — это понятно, но при чем тут политика? Так могут подумать многие. Однако для Тютчева — и в этом он в самом деле принадлежит к очень немногим — политика естественно вращалась в наиболее захватывающую и сокровенную глубину переживаний. Так было уже хотя бы потому, что поэт видел в любом существенном политическом событии новое, современное, сегодняшнее звено Истории во всем ее размахе.

До нас дошла замечательная тютчевская фотография начала 1850-х годов. Перед нами лицо, или, пожалуй, уместнее будет сказать, лик поэта-мыслителя, покоряющий зримо запечатленной на нем глубиной и высотой духа. Вместе с тем перед нами прекрасное, исполненное спокойной силы лицо мужчины, мужа в жизненном расцвете (хотя Тютчеву было уже около пятидесяти лет); вглядываясь в него, понимаешь, сколь естественна была вспыхнувшая незадолго до того беспредельная любовь Елены Денисьевой к этому, бывшему в два раза ее старше, человеку. Все более ранние изображения Тютчева явно уступают данной фотографии даже и с точки зрения того, что называется мужской красотой.

Но вглядимся в одну деталь портрета, которую трудно заметить сразу, ибо лицо властно притягивает к себе все внимание. В правой руке поэта — газета, от которой он явно только что поднял глаза. Известны стихи Марины Цветаевой, саркастически клеймящие «читателей газет» вообще; поэтесса упустила, что такие люди, как Тютчев или Достоевский, поистине не могли жить без газет, ибо должны были повседневно слушать бьющийся в них живой пульс мировой истории. И политика (и в том числе газеты как таковые) неотделима и от поэзии Тютчева, и даже от самой его любви...

<...>

В 1847 году, в возрасте сорока четырех лет, поэт так выразил свое глубокое убеждение: «Я отжил свой век и... у меня ничего нет в настоящем». Но затем совершилось подлинное возрождение — жизнь словно начиналась заново: в 1849 году, после почти полного десятилетнего молчания, поэт вступает в новую и, пожалуй, наивысшую свою творческую пору; в 1850-м его захватывает едва ли не самая властная и глубокая в его жизни любовь.

И нет сомнения, что между тем и другим была органическая внутренняя связь, или, вернее, то и другое было выражением одного единого обновления души. Нельзя не заметить, что сами многочисленные стихи о последней любви всецело принадлежат к новому периоду тютчевского творчества: они и не могли бы родиться без того духовного переворота, который со всей очевидностью выразился еще в стихах 1849 года.

По-видимому, далеко не случайно любовь поэта к Елене Денисьевой началась лишь на пятый год их знакомства, между тем как предшествующие его избранницы покоряли Тютчева чуть ли не при первой встрече. Он должен был увидеть, открыть в этой девушке нечто недоступное его взгляду ранее, должен был почувствовать то упоение «одной улыбкой умиления», которое оказывается «сильней», чем весь упоенный «избытком жизни» «цветущий мир природы».

Если высказаться несколько прямолинейно, любовь к Елене Денисьевой была неразрывно связана с тем подлинным открытием родины, которое совершилось накануне начала этой любви в душе и поэзии Тютчева. Трижды поэт отдал свою любовь женщинам Германии — Амалии Лерхенфельд-Кеферинг, Элеоноре Ботмер, Эрнестине Пфедфель (названы их девичьи фамилии).

Третья любовь была полной и проникновенной. И Тютчев в ней, если не бояться торжественных выражений, как бы всецело обручился с Европой. Но не менее

существенно другое. Эрнестина Пфедфель, став Эрнестиной Федоровной Тютчевой и поселившись в России, не сделалась русской, даже не переменяла своего — католического — вероисповедания, но она всей душой, всем существом поняла и приняла Россию, притом, в известной мере, еще и до своего приезда на родину мужа. Сумев оценить самобытность его гения, Эрнестина Федоровна смогла воспринять духовные ценности породившей Тютчева страны. Это может показаться странным, но именно Эрнестина Федоровна горячо настаивала на отъезде в Россию в 1844 году. Тютчев даже напоминал ей через десять лет: «Ты привела меня в эту страну».

Строго говоря, это было преувеличением. Ведь еще за пять лет до возвращения на родину поэт сообщил отцу и матери, что «твердо решил... окончательно обосноваться в России. Нести [уменьшительное от Эрнестины] желает этого не менее, чем я. Мне надоело существование человека без родины». Ясно, что речь идет об обоюдном решении. Однако в тот момент, когда уже нужно было собираться в дорогу, Тютчев проявил нерешительность. Это вообще неотъемлемая черта его характера. Только едва ли верно истолковывать эту черту однозначно — как слабость духа. Да, Тютчеву всегда нелегко было сделать выбор, но, по всей вероятности, потому, что он с предельной остротой и полнотой понимал и чувствовал его ответственность. Ведь заведомо «нерешителен» и шекспировский Гамлет, но едва ли уместно говорить о слабости его духа...

Так или иначе Эрнестина Федоровна сообщала брату за три с половиной месяца до отъезда из Германии:

«Путешествие в Россию продолжает оставаться темой наших интимных обсуждений и даже супружеских ссор. Тютчеву этого совсем не хочется, я же чувствую настоятельную необходимость этого и намерена путешествие это осуществить».

Правда, Эрнестина Федоровна не ведала еще, что переселяется в Россию навсегда. Через шесть лет она напишет брату:

«Один Бог знает, решилась ли бы я предпринять это путешествие в Россию... если бы мне было дано предчувствовать, что оно приведет нас к месту окончательного нашего пребывания».

Но теперь уже все для нее было давно решено, и она делает только одну оговорку:

«Я собираюсь завоевать себе достаточную свободу, чтобы уезжать на несколько месяцев за границу... втроем: маленькая Мария, мой муж и я...»

Эрнестина Федоровна уезжала за границу, то есть на свою родину, не столь уж часто и, за редкими исключениями, ненадолго. Очень значительную часть своей жизни она провела в Овстуге, который глубоко полюбила.

К сожалению, ее многочисленные письма к Тютчеву были сожжены ею самой после его смерти. Но и из почти пятисот сохранившихся тютчевских писем к ней (она сожгла около двухсот, написанных до их свадьбы) ясно, что Эрнестина Федоровна в полной мере разделяла представления поэта о России и Западе. Это вовсе не означало, кстати сказать, что она хоть в какой-либо мере «отреклась» от Европы, ибо отнюдь не отрекался от всех подлинных европейских ценностей и сам Тютчев.

В биографии поэта, написанной славянофилом Иваном Аксаковым, есть немало суждений, которые внушают мысль о том, что в поздние свои годы Тютчев так или иначе «отвернулся» от Европы ради России. Своеобразным доказательством обратного, пусть и не очень «научным», но достаточно весомым, является тот факт, что поэт до самого своего конца всеми силами души любил и беспредельно ценил ту, которая, конечно, никогда не переставала быть — при всем своем принятии России — истинно европейской женщиной.

Через год с лишним после того, как началась его любовь к Елене Денисьевой, Тютчев писал Эрнестине Федоровне — и писал, как подтверждают все обстоятельства, с полнейшей искренностью:

«Ах, насколько ты лучше меня, насколько выше! Сколько выдержанности, сколько серьезности в твоей любви — и каким мелким, каким жалким я чувствую себя сравнительно с тобою...»

...Но пора уже обратиться к этой труднейшей, даже мучительной для всякого, кто думает о ней серьезно, теме — теме двойной любви Тютчева. Все обстояло именно так: поэт в самом деле в продолжение долгих лет испытывал подлинную любовь одновременно к двум женщинам.

При этом он постоянно страдал от острого чувства вины перед обеими. И не столько даже из-за своей «измены» и той, и другой, сколько от сознания, что — в отличие от них обеих — не отдает себя каждой из них всецело, до конца. Это сознание запечатлено со всей силой и в целом ряде стихотворений, и в письмах поэта.

Но, пожалуй, самообвинение было не вполне справедливо. Многие говорят о том, что Тютчев любил обеих женщин поистине на пределе души. Возможность такой, конечно, очень редко встречающейся, ситуации объясняется отчасти тем, что Эрнестина Пфедфель и Елена Денисьева отличались друг от друга не меньше, чем Европа и Россия... И самое чувство любви поэта к каждой из них было глубоко различным.

В Эрнестине Федоровне поэта восхищала «выдержанность» и «серьезность»; между тем, говоря об Елене Денисьевой, как вспоминал муж ее сестры Георгиевский, Тютчев «рассказывал об ее страстном и увлекающемся характере и нередко ужасных его проявлениях, которые однако же не приводили его в ужас, а напротив, ему очень нравились как доказательство ее безграничной, хотя и безумной, к нему любви...».

Это заключение, по всей вероятности, справедливо. В минуту полной откровенности Тютчев говорил, что он несет в себе, как бы в самой крови, «это ужасное свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду любви...».

Поэту ни в коей мере не были присущи жажда славы, почестей, власти, тем более богатства и т. п. Но то, что он назвал «жаждой любви», переполняло его душу, пронизывая ее и восторгом и ужасом.

Через два года после женитьбы на Эрнестине Федоровне он должен был на несколько недель с ней расстаться; вскоре он написал ей:

«Мне решительно необходимо твое присутствие для того, чтобы я мог переносить самого себя. Когда я перестану быть *существом столь любимым*, я превращаюсь в существо весьма жалкое».

А гораздо позднее, в сентябре 1874 года, Иван Аксаков рассказал в письме к дочери поэта Екатерине, что ее отец не раз покаянно говорил о присущем ему «злоупотреблении человеческими привязанностями...».

Вся жизнь поэта ясно свидетельствует, что слово «злоупотребление» — это безжалостное самоосуждение. Можно сказать, что он испытывал беспредельное упоение той любовью, которую он вызывал, что он утопал в этой любви, словно теряя в ней самого себя и свою любовь. Ему казалось, что вызванная им любовь — ничем не заслуженный, поистине чудесный дар. Вот убеждение, которое Тютчев не раз высказывал в различной форме:

«Я не знаю никого, кто был бы менее, чем я, достоин любви. Поэтому, когда я становился объектом чьей-нибудь любви, это всегда меня изумляло...»

Именно таковым, очевидно, было и начало его отношений с Еленой Денисьевой. Как свидетельствовал Георгиевский, поэт вызвал в ней «такую глубокую, такую самоотверженную, такую страстную любовь, что она охватила и все его существо, и он остался навсегда ее пленником».

Любовь Елены Денисьевой в самом деле являла собой нечто исключительное; Георгиевский буквально не мог подобрать слов для определения ее силы и глубины. Он писал, что Елена Александровна смогла «приковать к себе» поэта «своею вполне самоотверженною, бескорыстною, безграничною, бесконечною, безраздельною и готовою

на все любовью... — таковою любовью, которая готова была и на всякого рода порывы и безумные крайности с совершенным поправлением всякого рода светских приличий и общепринятых условий».

Стоит добавить, что и сам характер этой женщины был соединением «крайностей»; Георгиевский подчеркивает, в частности, что Елена Александровна, готовая на «поправление» всех «условий», в то же время была женщина «глубоко религиозная, вполне преданная и покорная дочь православной Церкви», — не забывая при этом отметить, что «глубокая религиозность Лели не оказала никакого влияния на Федора Ивановича».

О безмерной любви своей Лели поэт не раз говорил в стихах, сокрушаясь, что он, породивший такую любовь, не способен подняться до ее высоты и силы:

Ты любишь искренно и пламенно, а я —  
Я на тебя гляжу с досадою ревнивой.  
И, жалкий чародей, перед волшебным миром,  
Мной созданным самим, без веры я стою —  
И самого себя, краснея, сознаю  
Живой души твоей безжизненным кумиром.

Он вновь и вновь повторяет, что «не стоит» ее любви:

Пускай мое она создание —  
Но как я беден перед ней...  
Перед любовью твоею  
Мне больно вспомнить о себе —  
Стою, молчу, благоговею  
И поклоняюсь тебе...

Эти самообвинения справедливы в одном отношении: поэт не мог расстаться с Эрнестиной Федоровной и целиком отдать себя новой любви. Но едва ли можно усомниться в том, что он любил Елену Александровну по-своему так же безгранично, беспредельно, как и она его.

...Еще в первые годы своей любви поэт создал символический образ возлюбленной, образ «своенравной волны», которая полна «чудной жизни»:

Ты на солнце ли смеешься,  
Отражая неба свод,  
Иль мятешься ты и бьешься  
В одичалой бездне вод, —  
Сладок мне твой тихий шепот  
Полный ласки и любви;  
Внятен мне и буйный ропот.  
Стоны вещице твои.  
Будь же ты в стихии бурной  
То угрюма, то светла,  
Но в ночи твоей лазурной  
Сбереги, что ты взяла...

Сбереги, ибо

...в минуту роковую,  
Тайной прелестью влеком,  
Душу, душу я живую  
Схоронил на дне твоём.

Сколько бы ни обвинял себя поэт в недостаточной любви к Елене Александровне, он в самом деле отдал ей свою душу.

Но каким образом это утверждение согласить с тем, что Тютчев говорил — уже после начала своей последней любви — Эрнестине Федоровне: «Ты — самое лучшее из всего, что известно мне в мире»? Можно бы показать постоянство такого его отношения к ней — как к своего рода идеальному существу, в котором воплощено все «лучшее» и «высшее». Это выражается чуть ли не в каждом стихотворении, обращенном к Эрнестине Федоровне:



...Мне благодатью ты б была —  
Ты, ты, мое земное провиденье!

Все, что сберечь мне удалось,  
Надежды, веры и любви...

Совсем иной человеческий облик в стихотворениях, посвященных Елене Денисьевой, — хотя бы в только что цитированном — о своенравной волне. Здесь жизнь являет себя во всей своей противоречивой цельности, с ее светящими взлетами и темными глубинами. И сами взаимоотношения любящих не имеют в себе ничего идиллического.

Любовь, любовь — гласит преданье —  
Союз души с душой родной —  
И съединенье, сочетание,

(но так гласит преданье, а реальность не сводится к этому)

И роковое их слиянье,  
И... поединок роковой...

Конечно, все тяжкое, мучительное, роковое в последней любви поэта связано с той раздвоенностью, которую он не в силах был преодолеть. И все же нельзя свести к этому смысл, вложенный поэтом в слово «поединок». Речь идет о любви, захватившей души двух людей до самого дна и как бы размывшей все границы между ними; «роковое слиянье» с неизбежностью ведет к «роковому поединку».

В 1858 году исполнилось двадцать лет со дня смерти первой жены Тютчева Элеоноры, и он написал стихи (о них уже шла речь), посвященные ее памяти. Они кончались строками о том, как

...Мило-благодатна,  
Воздушна и светла  
Душе моей стократно  
Любовь твоя была.

Это стихотворение — может быть, без всякого намерения со стороны поэта — содержало своего рода противопоставление последней любви, которая никак не умещалась в рамках благодатности, воздушности и света. Но тем непобедимее была для Тютчева эта любовь, которая, как сказал он сам, была «всею моею жизнью». При этом необходимо помнить, что жизнь поэта ни в коей мере не представляла собою замкнутое в себе частное существование. Все, что мы знаем о нем, ясно свидетельствует: он жил как бы перед целым Миром во всей беспредельности его пространства и времени.

И жизнь и смерть Елены Денисьевой была для поэта, если не бояться высоких слов, явлением мирового порядка. Это явствует уже хотя бы из того, что едва ли не самое всеобщее по смыслу стихотворение позднего Тютчева — «Два голоса» — имеет отчетливый отзвук в одном из стихотворений памяти Елены Денисьевой, написанном в марте 1865 года, стихотворении, молящем о том, чтобы не исчезла «мука вспоминанья», живая мука

По ней, по ней, свой подвиг совершившей  
Весь до конца, в отчаянной борьбе,  
Так пламенно, так горячо любившей  
Наперекор и людям и судьбе, —  
По ней, по ней, судьбы не одолевшей,  
Но и себя не давшей победить...

Тот же вселенский размах в другом стихотворении:

Любила ты, и так, как ты, любить —  
Нет, никому еще не удавалось!

Ритмико-интонационное напряжение этих строк столь мощно, что оно, по-видимому, непосредственно отозвалось через полвека в строках преклонявшегося перед Тютчевым Александра Блока, строках, говорящих о русской стихии в целом (поэма «Скифы»):

Да, так любить, как любит наша кровь,  
Никто из вас давно не любит!

Именно такими масштабами уместно мерить ту Любовь, которой посвящены тютчевские стихи о Елене Денисьевой.

Слова «свой подвиг совершившей» прозвучат еще раз в стихах поэта, созданных уже в самом конце жизни, в августе 1871 года. Здесь сказано о том, что природа «своей всепоглощающей и миротворной бездной» приветствует

Поочередно всех своих детей,  
Свершающих свой подвиг бесполезный...

Смысл тут уже иной; и в стихотворении «Два голоса», и в стихах о последней любви нет и намека на «бесполезность» человеческого «подвига». Стихи Тютчева были звеньями его бытия, и вполне понятна, вполне естественна эта расслабленность, эта, если угодно, сдача, капитуляция в стихотворении, созданном всего за год с небольшим до начала предсмертной болезни, последнего упадка сил.

Сейчас важно обратить внимание на другое — на то, что «подвиг» на языке поэта всегда означал всечеловеческий подвиг перед лицом Космоса. И образ его возлюбленной потому, в частности, и принадлежит к величайшим образам мировой поэзии, что он предстает как явление целой Вселенной.

В ранних тютчевских стихах о любви это не выступает столь мощно и рельефно. Любовь там раскрывается, так сказать, на *фоне* мира; между тем в поздних стихах сама любовь являет собой *мировое* действие, вселенскую трагедию, нисколько не утрачивая в то же время неповторимые черты живой жизни:

...Вот тот мир, где жили мы с тобою,  
Ангел мой, ты видишь ли меня?

В стихотворении 1839 года «Весна» поэт провозглашал как необходимость: «хотя на миг» быть причастным «жизни божеско-всемирной», жизни, образы которой переполняли тогда его стихи. В позднем творчестве поэта почти нет образов открыто космического плана; но, если внимательно взглядеться в их смысл, станет ясно, что их героиня (а вместе с ней, конечно, и сам лирический герой) не «на миг», а на всю жизнь причастна всеобщему бытию мира.

Это глубокое преобразование в поэтическом содержании даже не так легко понять. В ранней поэзии Тютчева человек может предстать «как бог», «как небожитель», хотя бы и «на миг». В поздней же тютчевской поэзии люди, способные на истинный «подвиг», оказываются глубоко причастными всемирному бытию именно как *люди*, в своей собственной сущности.

И нет сомнения, что «подвиг» своей возлюбленной поэт пережил именно как мировое событие. Этому не помешала ни многообразная житейская проза, терзавшая его любовь, ни охлаждающая сила времени; через четырнадцать лет все было так же накалено, как в начале.

15 июля 1865 года Тютчев написал:

Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло  
С того блаженно-рокового дня,  
Как душу всю свою она вдохнула,  
Как всю себя перелила в меня.

Этот «блаженно-роковой день» был жив всегда — все долгие годы, хотя целая цепь трудных и даже тягостных обстоятельств омрачала и коверкала жизнь и души любящих, особенно Елены Александровны.

Как уже говорилось, в 1850 году она жила у своей тетки Анны Дмитриевны, инспектрисы Смольного института благородных девиц, который тщательно оберегал свою репутацию. Тайные свидания Елены Денисьевой с поэтом обнаружили уже в марте 1851 года, и Анна Дмитриевна была тут же удалена из института. Отец Елены, служивший

исправником в Пензенской губернии, как раз в марте приехал в Петербург. В гневе он отрекся от дочери и запретил родственникам встречаться с нею.

Но тетка, воспитывавшая Елену еще с детских лет, когда она осталась без матери, любила ее как собственную дочь (Елена до конца своих дней звала тетку мамой). Получив «отставку» в Смольном, Анна Дмитриевна поселилась с племянницей на частной квартире.

Анна Дмитриевна Денисьева — женщина насквозь «светская» — с большим почтением относилась к Тютчеву, который все-таки был камергер, имевший определенный вес при дворе; позднее, когда поэт обрел дружбу с новым министром иностранных дел А.М. Горчаковым, Анна Дмитриевна питала к нему даже своего рода подобострастие. Поэтому, в частности, она ничем не препятствовала любви своей племянницы.

Достаточно шумный скандал нанес Елене Денисьевой, несмотря на всю ее безоглядность в любви, страшный удар. Очевидно, тогда же, в марте 1851 года, Тютчев написал:

Толпа вошла, толпа вломилась  
В святилище души твоей,  
И ты невольно устыдилась  
И тайн и жертв, доступных ей...

С еще более острым драматизмом говорится об этом в стихотворении того же времени «О, как убийственно мы любим...», где в сущности, предстает образ убитой, погубленной любви:

И что ж от долгого мученья,  
Как пепл, сберечь ей удалось?  
Боль, злую боль ожесточенья,  
Боль без отрады и без слез!

Конечно, эта боль уже не могла исцелиться, но постепенно Елена Денисьева, с ее по своему очень сильной натурой, сумела овладеть собою. В первом из цитированных только что стихотворений поэт взывал:

Ах, если бы живые крылья  
Души, парящей над толпой,  
Ее спасали от насилия  
Безмерной пошлости людской!

И в какой-то мере она поднялась над этой «пошлостью».

20 мая 1851 года Елена Александровна родила дочь, названную Еленой. Это окончательно соединило возлюбленных нерасторжимой связью. Тютчев писал, по-видимому, еще до крещения дочери (поэтому она названа *безымянной*, что на языке поэта имело особенный смысл):

Когда, порой, так умиленно,  
С такою верой и мольбой  
Невольно клонишь ты колено  
Пред колыбелью дорогой,  
Где спит она — твоё рожденье —  
Твой безымянный херувим, —  
Пойми ж и ты мое смирение  
Пред сердцем любящим твоим.

Рождение ребенка вызвало новую коллизию: хотя Елена Александровна окрестила девочку как Тютчеву, это не имело ровно никакой законной силы. Дочь была обречена на печальную в те времена судьбу «незаконнорожденной». Но Елена Александровна, которая и себя называла Тютчевой, постоянно была обращена к истинному смыслу ее отношений с возлюбленным, видя в формальных преградах только роковое стечение обстоятельств. По воспоминаниям Георгиевского, она даже и через много лет, в 1862 году, говорила:

«Мне нечего скрываться и нет необходимости ни от кого прятаться: я более всего ему жена, чем бывшие его жены, и никто в мире никогда его так не любил и не ценил, как я его люблю»

и ценю, никогда никто его так не понимал, как я его понимаю, — всякий звук, всякую интонацию его голоса, всякую его мину и складку на его лице, всякий его взгляд и усмешку; я вся живу его жизнью, я вся его, а он мой: “и будут два в плоть едину”, а я с ним и дух един... Ведь в этом и состоит брак, благословенный самим Богом, чтобы так любить друг друга, как я его люблю, и он меня, и быть одним существом... Разве не в этом полном единении между мужем и женою заключается вся сущность брака... и неужели Церковь могла бы отказать нашему браку в своем благословении? Прежний его брак уже расторгнут тем, что он вступил в новый брак со мной...»

Как свидетельствовал тот же Георгиевский, Елена Александровна была убеждена, что Тютчев не может вступить с ней в брак потому-де, что «он уже три раза женат, а четвертого брака Церковь почему-то не венчает, на основании какого-то канонического правила... Я обречена всю жизнь оставаться в этом жалком и фальшивом положении, от которого и самая смерть Эрнестины Федоровны не могла бы меня избавить, ибо четвертый брак Церковью не благословляется. Но так Богу угодно, и я смиряюсь перед Его святою волею, не без того, чтобы по временам горько оплакивать свою судьбу».

Трудно сказать, каким образом в сознании Елены Александровны сложилось это убеждение, не соответствовавшее действительности (включая и то, что Тютчев будто бы был женат не два, а три раза), но, по-видимому, оно хоть как-то примиряло ее с «жалким и фальшивым положением».

Насколько мы можем судить, Тютчев всегда стремился к тому, чтобы как можно больше времени не разлучаться с Еленой Александровной. Этому способствовало и то обстоятельство, что Эрнестина Федоровна с младшими детьми обычно большую часть года жила в Овстуге, куда Тютчев приезжал нередко, но ненадолго, зимние же месяцы жена иногда проводила за границей.

Известно даже, что Тютчев, когда он на более или менее длительный срок уезжал в Москву, брал с собой Елену Александровну. Наконец, уже в последние годы ее жизни они не раз вместе путешествовали по Европе, этими поездками она особенно дорожила, говоря, что во время них Тютчев был «в полном и нераздельном ее обладании». Возможно, именно этим объясняется, что поэт, явно не стремившийся за границу, в 1859–1862 годах трижды отправлялся на Запад и сравнительно надолго. Словом, жизнь поэта в 1850–1864 годах была отдана прежде всего Елене Александровне.

Взаимоотношения Тютчева с Эрнестиной Федоровной в течение долгих периодов, по сути дела, целиком сводились к переписке. Так было, например, с весны 1851 до осени 1854 года.

Стоит привести характерные строки из писем поэта Эрнестине Федоровне 22 марта 1853 года, накануне приезда семьи из Овстуга в Петербург, откуда вскоре жена на год уедет за границу, Тютчев пишет:

«Ваша квартира готова. Она, к сожалению, не будет ни великолепна, ни элегантна, ни даже удобна. Это — квартира в нижнем этаже дома Сафонова, но она все-таки лучше той, которая находится в бельэтаже (как здесь говорят) и превращена в совершенную конюшню последними жильцами. Я сам, однако, поселюсь там, за положительной невозможностью найти угол внизу, с вами. Но как бы то ни было, приезжайте».

По-видимому, дело не только в недостатке подходящих квартир; поэт стремился тогда жить отдельно от семьи, хотя и рядом.

После возвращения из-за границы, куда Тютчев, получивший в то время служебную командировку, проводил Эрнестину Федоровну, он пишет:

«Приехав сюда, я пытался временно найти пристанище в нашем весеннем помещении в доме Сафонова. Но было уже поздно. Оба этажа были уже заняты, и наша мебель куда-то сложена. Пришлось мне опять искать приюта в гостинице Клее, и я поселился снова в тех двух комнатах 4-го этажа, которые занимал раньше за 12 рублей в неделю».

Такое почти полное отсутствие налаженного быта продолжалось в течение первых десяти лет петербургской жизни поэта, что, конечно, многое говорит и о нем самом, и об

атмосфере его тогдашнего существования. Не забудем, что в 1853 году Тютчеву исполнилось уже пятьдесят лет, и все же он живет в условиях этой — понятной и уместной разве лишь для поры юных скитаний — безбытности, неукорененности, даже бездомности.

Естественно предположить, что этот образ жизни был внутренне связан и с длившейся уже четвертый год любовью к Елене Денисьевой. Поэт как бы не стремился устраивать прочное семейное гнездо, которое противоречило бы этой любви. Правда, для Тютчева и вообще не характерна склонность к прочному бытовому устройству. Но именно в те годы, о которых идет речь, его безбытность дошла до предела. В январе 1853 года, когда поэт на три недели приехал в Овстуг, Эрнестина Федоровна написала оттуда своей падчерице Анне:

«Не забудь... отложить достаточно денег для того, чтобы бедный папа мог немного приодеться по возвращении, он ужасно оборвался».

Тютчев прямо-таки пренебрегал тогда элементарными требованиями «приличий». Через год его дочь Дарья сообщила сестре, что отец не заботится ни о чем, «даже о своей шевелюре, которая своим обилием и беспорядком до такой степени шокировала великую княгиню Елену, что она по этой причине воздержалась от приглашения его на свои праздничные приемы, о чем и объявила недавно на обеде, куда он был приглашен ею для того, чтобы она выразила ему свое восхищение его стихами». (Речь идет о супруге брата Николая I Михаила, Елене Павловне — высокообразованной и «либеральной» женщине, которая стремилась поддерживать отношения с крупнейшими деятелями культуры, начиная с Пушкина; стихи, которыми восхищается Елена Павловна, — это стихи, опубликованные в некрасовском «Современнике».)

...Но естественно встает вопрос о том, как воспринимала жена любовь мужа к другой. Существует мнение, что такого рода ситуации вообще не следует обсуждать публично, и в этом мнении, конечно, есть своя правда. Однако о последней любви поэта написано за последние семь десятилетий очень много, и умолчание обо всем с ней связанном уже никак не спасает положения. Лучше уж объективно разобраться в ситуации, чем попросту не обращать внимания на произвольные домыслы.

19 августа 1855 года старшая дочь поэта Анна, которая тогда достаточно ясно представляла себе положение вещей, писала о своей мачехе:

«Мама как раз та женщина, которая нужна папе, — любящая непоследовательно, слепо и долготерпеливо. Чтобы любить папу, зная его и понимая, нужно... быть святой, совершенно отрешенной от всего земного...»

Эрнестина Федоровна явила — в очень мучительных для нее жизненных условиях — редчайшее самообладание. Она, в частности, ни разу за все четырнадцать лет ничем не обнаружила, что знает о любви мужа к другой. Единственное, о чем она говорила в письмах к Тютчеву, — что он разлюбил ее, и давала понять, что поэтому им следует расстаться.

2 июня 1851 года он писал в ответ на письмо жены, отправленное из Овстуга:

«Итак, любовь моя к тебе — лишь вопрос нервов, и ты говоришь мне этот вздор с выражением покорной убежденности...»

Через четыре дня он продолжает:

«Ты воображаешь, что привязанность моя к тебе ничто иное, как недуг... что *если бы я утратил тебя, то едва улеглось бы первое горе, как борозда, оставленная памятью о тебе, спокойно затянулась бы*» (выделенные Тютчевым слова излагают суждения жены).

Выше говорилось, что в течение 1851–1854 годов отношения поэта с женой почти целиком сводились к переписке. Но это была поистине жизнь в письмах — жизнь, проникнутая высоким напряжением души, жизнь, полная мысли и чувства. За эти три с неболь-



шим года поэт отправил жене более сотни писем, притом чаще всего пространных и насыщенных глубоким смыслом, хотя бы в их подтексте, в намеках и подразумеваниях. Эти письма — целая история жизненных отношений, то обостряющихся до крайности, то находящих пути к примирению.

Уже было сказано, что Эрнестина Федоровна не решалась или же не унижалась до разговоров о той, которая встала между нею и мужем. И здесь, по-видимому, проявлялись не только свойства ее духа, но и беспредельность ее любви.

В 1850 году ей исполнилось сорок лет, ею уже не владела та молодая сила страсти, которая запечатлена в обращенных к ней тютчевских стихотворениях тридцатых годов. Но любовь ее все же была безгранична. Ее падчерица Дарья писала сестре Анне о том, как Эрнестина Федоровна встречала мужа на дороге из Рославля в Овстуг в августе 1855 года:

«Дважды в день напрасно ходили на большую дорогу, такую безрадостную под серым небом... По какой-то интуиции она велела запрячь маленькую коляску, погода прояснилась... и мы покатали по большой дороге... Каждое облако пыли казалось нам содержащим папу, но каждый раз было разочарование; то это было воловьё стадо, то телега... Наконец, доехав до горы, которая в 7 верстах от нас... мама прыгает прямо в пыль... У нее было что-то вроде истерики... Если бы папа не приехал в Овстуг, мама была бы совсем несчастна».

К этому времени, по-видимому, сложилось примирение с невыносимой, казалось бы, ситуацией. Ведь за два года до того, когда Эрнестина Федоровна уехала в Германию и провела там целый год, она, вероятнее всего, склонялась к мысли о том, чтобы вообще не возвращаться. 29 сентября 1853 года Тютчев так отвечал на письмо жены:

«Ты перестала, как ты утверждаешь, чему-либо верить и написала мне такие страшные слова, что ты для меня всего лишь старый гнилой зуб; когда его вырывают, больно, но через мгновение боль сменяется приятным ощущением пустоты...»

Тютчев, как и всегда в таких случаях, решительно возражал жене, отрицавшей его любовь к ней. И в этом выражалось трудно понимаемое, даже, пожалуй, пугающее раздвоение его души. Можно доказывать, что субъективно, внутри мятущегося сознания, он был по-своему честен и прав. Но едва ли уместно оправдать его с объективной точки зрения.

Он вопрошал Эрнестину Федоровну в письме из Москвы, где он проводил свой месячный отпуск, в Овстуг:

«Что же произошло в глубине твоего сердца, что ты стала сомневаться во мне, что перестала понимать, перестала чувствовать, что ты для меня — *всё*, и что сравнительно с тобою все остальное — *ничто*? — Я завтра же, если это будет возможно, выеду к тебе. Не только в Овстуг, я поеду, если это потребует, хоть в Китай, чтобы узнать у тебя, в самом ли деле ты сомневаешься и не воображаешь ли ты случайно, что я могу жить при наличии такого сомнения...»

Строго говоря, это «всё» и это «ничто», написанные Тютчевым, были неправдой. Он, кстати сказать, так и не собрался тогда в Овстуг. По всей вероятности, он в то время приехал в Москву вместе с Еленой Александровной и их новорожденной дочерью (возможно, для того, чтобы окрестить ребенка, ради сохранения тайны, в московской, а не петербургской церкви). Георгиевский свидетельствовал, что Елена Александровна «привыкла проводить лето и осень вместе [с Тютчевым] или в Москве, или за границей».

Любовь к Елене Денисьевой была для поэта, по его слову, «всею... жизнью». До нас не дошло его писем к ней, но, вероятно, в них тоже содержались это «всё» и это «ничто», которые мы читаем в письме к Эрнестине Федоровне.

По отдельным мелким подробностям нетрудно убедиться, что Тютчев постоянно стремился как бы отвоевать для Елены Александровны возможно более прочное место в своей жизни. Так, в январе 1853 года он просит своих дочерей от первого брака Екатерину и Дарью послать приветственное письмо тетке Елены Александровны (вспомним, что последняя была наставницей этих дочерей поэта в Смольном). Смущенная

Екатерина обращается по этому поводу к старшей своей сестре Анне, которая дает ей весьма дипломатичную рекомендацию:

«Скажи просто маме (то есть мачехе): папа советует написать старушке Денисьевой, нам очень этого не хочется. Думаешь ли ты, что это необходимо? — Таким образом, вы сразу узнаете, считает ли она это желательным».

Неизвестно, было ли отправлено такое письмо, но стоит упомянуть, что через год с лишним, весной 1854 года, Дарья сообщила Екатерине:

«Я увидела (на раздаче шифров [наград] в Смольном) мадемуазель Денисьеву, но очаровательно то, что мы обе сделали вид, будто мы лучшие в мире подруги, и на самом деле я чувствовала себя с ней совершенно свободно, особенно когда заметила ее стесненный и смиренный вид, который тронул меня».

Широко распространено мнение, что Елена Александровна из-за своей незаконной любви превратилась в своего рода парию. Но если это и было так, то лишь в самом начале ее отношений с поэтом. С годами она так или иначе вошла в круг людей, близких Тютчеву. Так, в 1863 году, рассказывая в письме к своей сестре Марии, что приезд ее к Тютчевым в Москву откладывается, она сетует:

«Я не застаю в Москве Сушкова, зятя Федора Ивановича, и это большая и серьезная неприятность для меня».

Еще через год поэт писал той же Марии:

«Великая княгиня Елена было одною из тех, кто недавно говорил мне о ней [Денисьевой] с наибольшей симпатией».

Из этого ясно, что «отверженность» Елены Александровны (хотя бы в поздние годы) сильно преувеличена.

Дочь поэта от первого брака Екатерина так сообщала своей тетке Дарье Ивановне о болезни Елены Александровны:

«Он [Тютчев] опасается, что она не выживет и осыпает себя упреками; о том, чтобы нам с ней повидаться, он даже не подумал; печаль его удручающа, и у меня сердце разрывалось».

Известно также, что Елена Александровна участвовала во встречах Тютчева с рядом государственных и политических деятелей — например, Деляновым и Катковым.

Вообще, несмотря на горестные и тяжкие стороны своего положения, Елена Александровна со временем смирилась с ним. По словам Георгиевского, «ей нужен был только сам Тютчев и решительно ничего, кроме него самого». Но есть немало свидетельств, что и сам поэт всегда стремился не разлучаться с Еленой Александровной, насколько это было возможно. Он писал о ней впоследствии:

«Она — жизнь моя, с кем так хорошо было жить, так легко и так отрадно...»

Он говорил в стихах, написанных 10 июля 1855 года на даче, которую Денисьевы снимали возле Черной речки, где

...в покое нерушимом  
Листья веют и шуршат.  
Я, дыханьем их оваян,  
Страстный говор твой ловлю...  
Слава Богу, я с тобою,  
А с тобой мне — как в раю.

В этом же стихотворении — проникновенные строки:

Лишь одно я живо чую:  
Ты со мной и вся во мне

Георгиевский писал о Елене Александровне:

«Это была натура в высшей степени страстная, требовавшая себе всего человека, а как мог Федор Иванович стать вполне ее, “настоящим ее человеком”, когда у него была своя законная жена, три взрослые дочери и подраставшие два сына и четвертая дочь».

Такого рода соображениями воспоминания мужа сестры Елены Александровны вообще избилуют. Но нельзя не видеть, что он был человеком совсем иного, далекого и от Тютчева, и от Елены Денисьевой, склада и характера; в нем чувствуется нечто «каренинское». И едва ли будет преувеличением сказать, что Елена Александровна воспринимала поэта именно как «вполне ее» человека, несмотря на все внешние преграды между ними. Это, разумеется, отнюдь не значит, что отношения — даже и в поздние годы их любви, когда Елена Александровна со многим примирилась, — были безоблачными или хотя бы спокойными. Сам поэт рассказал позднее об одном из мучительных столкновений между ними:

«Я помню, раз как-то в Бадене [Тютчев был там вместе с Еленой Александровной летом 1860 и 1862], гуляя, она заговорила о желании своем, чтобы я серьезно занялся вторичным изданием моих стихов и так мило, с такой любовью созналась, что так отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя (не имя, которого она не любила, но *она*). И что же... вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение, мне как-то показалось, что с ее стороны подобное требование не *совсем великодушно*, что, зная, до какой степени я весь ее (“ты мой собственный”, как она говорила), ей нечего, незачем было желать и еще других, печатных заявлений, которыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности... О, как она была права в своих самых крайних требованиях...»

Но жизненная коллизия была в точном смысле слова неразрешимой; поэт безусловно не мог разорвать отношения с Эрнестиной Федоровной. Об этом ясно говорят те около трехсот писем, которые он послал ей за четырнадцать лет своей любви к Елене Денисьевой. В его письмах подчас почти прорывается признание, хотя вообще-то он как раз старается погасить, заглушить его. Еще 2 июля 1851 года, через год после начала своей любви, он пишет из Москвы в Овстуг, куда несколько недель назад уехала Эрнестина Федоровна, пишет в ответ на ее письмо, полное сомнений:

«Известно ли тебе, что со времени твоего отъезда я, несмотря ни на что, и двух часов сряду не мог считать твое отсутствие приемлемым... Это сильнее меня. Я с горьким удовлетворением почувствовал в себе что-то, что неизбежно пребывает, несмотря на все немощи и колебания моей глупой природы. А знаешь, что еще больше разбередило этот цепкий инстинкт — столь же сильный, столь же себялюбивый, как инстинкт жизни?... Скажу тебе напрямик. Это предположение, простое предположение, что речь шла о необходимости сделать выбор, — одной лишь тени подобной мысли было достаточно, чтобы я почувствовал бездну, лежащую между тобою и всем тем, что не ты...

Во многом я бывал неправ... Я вел себя глупо, недостойно... По отношению к одной тебе я никогда не был неправ, и это по той простой причине, что мне совершенно невозможно быть неправым по отношению к тебе...

Итак, я отправляюсь в дорогу и выберу кратчайший путь... Мне не терпится позавтракать с тобою у тебя на балконе...» (речь идет о балконе овстугского дома).

Нельзя закрыть глаза на то, что с объективной точки зрения здесь нет правды, хотя Тютчев и уверяет, что не может быть «неправым». И он так и не отправился тогда в дорогу и приехал в Овстуг лишь на следующее лето.

Но правда все же сказывается — в словах о том, что ему невозможно «сделать выбор»...

По прошествии полутора лет, 17 декабря 1852 года, поэт снова повторяет в письме к жене:

«Пусть я делал глупости, поступки мои были противоречивы, непоследовательны. Истинным во мне является только мое чувство к тебе».

Но на следующий год отношения вновь обостряются, оказываясь на грани разрыва, и 29 сентября 1853 года Тютчев пишет Эрнестине Федоровне в Мюнхен, куда она уехала, быть может, навсегда:

«Что означает письмо, которое ты написала мне в ответ на мое первое письмо из Петербурга? Неужели мы дошли до того, что стали так плохо понимать друг друга? Но не сон ли все это? Разве ты не чувствуешь, что все, все сейчас под угрозой? Ах, Нестерле, это так грустно, так мучительно, так страшно, что невозможно высказать... Недоразумение — страшная вещь, и страшно ощущать, как оно все углубляется, все расширяется между нами, страшно ощущать всем своим существом, как ощущаю я, что оно вот-вот поглотит последние остатки нашего семейного счастья, все, что нам еще осталось на наши последние годы и счастья, и любви, и чувства собственного достоинства, наконец... не говоря уж обо всем другом...»

Через полтора месяца Тютчев в письме к жене (от 16 ноября) высказывает почти явное признание во всем, что происходит с ним:

«...Я ощущаю глубокое отвращение к себе самому, и в то же время ощущаю, насколько бесплодно это чувство отвращения, так как эта беспристрастная оценка самого себя исходит исключительно от ума; сердце тут не при чем, ибо тут не примешивается ничего, что походило бы на порыв христианского раскаяния...»

По возвращении Эрнестины Федоровны из Германии в мае 1854 года наступило перемирие, хотя, конечно, и неполное. Осенью Тютчевы наконец обрели постоянное пристанище — квартиру на Невском проспекте. Здесь, на третьем этаже, Тютчев жил почти до самой своей кончины.

Итак, с 1854 года устанавливается некое условное равновесие между теми двумя разными жизнями, которыми, в сущности, живет Тютчев. Впрочем, большую часть времени его отношения с женой, как уже говорилось, сводились к переписке. В октябре 1854 года она приехала в Петербург, но уже в ноябре Тютчев отправляется на несколько недель в Москву, по-видимому, вместе с Еленой Александровной.

Ранней весной следующего года Эрнестина Федоровна до поздней осени уезжает в Овстуг, куда Тютчев прибудет лишь на две недели в августе. Лето 1856 года она проводит в Прибалтике, а конец августа и сентябрь поэт живет в Москве. С начала мая до октября 1857 года жена его в Овстуге; поэт был там только часть августа. То же повторяется и в последующие годы, но Тютчев, занявший в 1858 году пост председателя Комитета иностранной цензуры, по причине или, может быть, под предлогом занятости, не приезжает в Овстуг вплоть до 1865 года (то есть до кончины своей возлюбленной), хотя каждый год, за исключением 1860, когда он на полгода уехал с Еленой Александровной за границу, бывает в Москве.

11 октября 1860 года в Женеве Елена Александровна родила второго ребенка — сына Федора; дочери Елене в это время уже исполнилось девять лет. Последние четыре года жизни Елены Александровны поэт почти не расстаётся с ней надолго. С июня по ноябрь 1860 и с мая по август 1862 года они находились вместе за границей. Он постоянно ездит в эти годы в Москву (иногда даже дважды в год) и обычно вместе с Еленой Александровной.

Георгиевский писал в своих воспоминаниях о том, что в поэте выражалось «блаженство чувствовать себя так любимым такою умною, прелестною и обаятельною женщиною». Но тот же Георгиевский свидетельствует, что Елена Александровна была вовлечена в сферу главных тогда интересов Тютчева — интересов политических. Есть все основания полагать, что так было и ранее, особенно в период Крымской войны. Поэт просто не мог не говорить со своей возлюбленной о том, что так всезахватывающе и мучительно волновало его. И хотя до нас не дошло сведений об ее причастности к политическим страстям поэта до 1862 года, трудно сомневаться, что причастность эта возникла уже в первые годы их любви. Что же касается последних лет, вовлеченность Елены Александровны в политические интересы поэта ясна и несомненна.

Мы уже видели, что в первой половине пятидесятых годов Тютчев в прямом смысле слова жил политическими интересами. Его дочь Дарья писала сестре в апреле 1854 года — писала шутливо, но по существу верно:

«Что до папы, он раздирается между вопросом Востока и вопросом Эрнестины, которые порой наступают друг на друга...»

Следует только добавить, что «вопрос Эрнестины» был одновременно «вопросом Елены»... Тогда же Анна сообщает Дарье о разговоре с отцом, находящемся «в отчаянии от того, что делается в политическом мире и предающем анафеме все мироздание».

<...>

Но вернемся к лету 1863 года. Все, что делал тогда Тютчев, живо интересовало Елену Денисьеву. В мае — первой половине июня, когда поэт в Петербурге, тяжело больной, продолжал заниматься политическими делами, она почти неотлучно находилась рядом с ним. Георгиевский вспоминал:

«...Ей приходилось делить все свое свободное время между заболевшими ее детьми, которые жили на даче вместе с ее тетушкой на Черной речке... и домом Армянской церкви на Невском проспекте, где жил Федор Иванович... Ухаживая за Федором Ивановичем, она продолжала ему читать передовые статьи “Московских ведомостей” по установившемуся у них обычаю».

Впрочем, до нас дошли и самые прямые и точные свидетельства — несколько писем Елены Александровны к сестре. 8 мая она писала о Тютчеве:

«Вот уже неделю я ухаживаю за ним. Он был очень серьезно болен. Я сильно встревожилась и проводила дни и ночи около него (потому что семья его отсутствует) и уходила навестить моих детей лишь часа на два в день. Теперь, слава Богу, и он, и они поправляются и, если все будет продолжать идти хорошо, мы поедем все вместе в Москву, то есть он, Леля и я... Скажи Александру [Георгиевскому], что я каждый день читаю Тютчеву “Московские ведомости”... и что мы ему очень признательны...»

<...>

Около 20 июня Тютчев уехал в Москву, а за ним вскоре отправилась туда Елена Александровна, поселившаяся в квартире Георгиевских. Едва ли можно усомниться в том, что поэт тогда и, конечно, не только тогда, постоянно говорил со своей возлюбленной о политических делах, переполнявших его душу. И это многим может показаться чем-то неестественным. Но не надо забывать, что для Тютчева самые злободневные политические события были необходимыми звеньями мировой истории, осозаемыми явлениями всемирно-исторического Рока, образ которого постоянно присутствует в тютчевской поэзии.

Образ Рока воплощен и в его творениях, посвященных последней его любви, и не будет натяжкой утверждение, что обе роковые стихии так или иначе соприкасались в мироощущении поэта. Вот почему нет ничего противоестественного в том, что для Тютчева не было отчуждающей грани между политическими и любовными переживаниями; они поистине переплетались в его душе, что вполне очевидно выступает в его письмах, говорящих о смерти Елены Денисьевой (о них еще пойдет речь). И летом 1863 года в Москве политика волновала Тютчева и Елену Александровну в равной мере.

Они вернулись в Петербург в августе. В самом конце 1863 года Эрнестина Федоровна возвратилась из Овстуга, и встречи Елены Александровны с Тютчевым стали более редкими. Но 10 мая 1864 года Эрнестина Федоровна с дочерью Марией уехала в Германию.

Тютчев все свободное время отдает Елене Александровне и их детям. Так, 5 июня она сообщила своей сестре:

«Моя дочь и отец ее... каждый вечер едут вдвоем на Острова то в коляске... то на пароходике... и не возвращаются никогда раньше полуночи».



22 мая Елена Александровна родила сына Николая. Сразу после родов у нее началось быстрое развитие туберкулеза. Она уже не могла путешествовать с Тютчевым и дочерью на Острова.

В июне Тютчев вынужден был на три недели уехать в Москву. А 10 июля его дочь Екатерина писала своей тетке Дарье:

«Он печален и подавлен, так как Д. тяжело больна, о чем он сообщил мне полупонамеками; он опасается, что она не выживет, и осыпает себя упреками... Со времени его возвращения из Москвы он никого не видел и все свое время посвящает уходу за ней. Бедный отец!»

<...>

## Глава десятая. Отчаянье и вера

4 августа 1864 года Елена Александровна скончалась на руках Тютчева. 7 августа он хоронил ее на Волковом кладбище в Петербурге.

На другой день после похорон он пишет в Москву Георгиевскому:

«Пустота, страшная пустота... Даже вспомнить о ней — вызвать ее, живую, в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу.

Страшно, невыносимо...»

Через несколько дней, 13 августа, он умоляет Георгиевского:

«О, приезжайте, приезжайте, ради Бога, и чем скорее, тем лучше!.. Авось либо удастся вам, хоть на несколько минут, приподнять это страшное бремя... Самое невыносимое в моем теперешнем положении есть то, что я с всевозможным напряжением мысли, неотступно, неослабно, все думаю и думаю о ней и все-таки не могу уловить ее... Простое сумасшествие было бы отраднее...»

16 августа Георгиевский приехал и поселился в квартире Тютчева. Впоследствии он вспоминал:

«Для Федора Ивановича было драгоценной находкой иметь такого собеседника, который так любил и так ценил его Лелю... так дорожил всеми подробностями ее характера, ее воззрений и всей богатой ее натуры».

Тютчев на протяжении долгого времени жадно стремился встречаться и с другими людьми, знавшими Елену Александровну; в разговорах с ними она, хоть в воображении, оживала для поэта. Он даже писал тогда:

«Право, для меня существуют только те, кто ее знал и любил...»

Георгиевский рассказывает, как они три дня напролет говорили об усопшей Леле, как объездили все места в Петербурге, с ней связанные:

«В этих беседах Федор Иванович по временам так увлекался, что как бы забывал, что ее уже нет в живых...»

И все же это не могло облегчить его душу. Он собирался еще поехать в Москву, к сестре Елены Александровны Марии, но понял, очевидно, что и она не спасет его от отчаянья.

Еще до того как он обратился к Георгиевскому с просьбой приехать в Петербург, поэт отправил письмо Эрнестине Федоровне, находившейся с мая в Германии. Письмо это не сохранилось; в нем, надо думать, намеками было сказано о совершившемся. В ответных письмах жена звала мужа к себе. Они договорились встретиться в Женеве.

Накануне отъезда за границу Тютчев, узнав поздно вечером о том, что неподалеку в петербургской гостинице Кроассана находится Афанасий Фет, пожелал проститься с ним. Впоследствии Фет проникновенно воссоздал это ночное свидание в своих «Воспоминаниях»:

«Безмолвно пожав руку, Тютчев пригласил меня сесть рядом с диваном, на котором он полулежал. Должно быть, его лихорадило и знобило в теплой комнате от рыданий, так как он весь

покрыт был с головою темно-серым пледом, из-под которого виднелось только одно изнемогающее лицо. Говорить в такое время нечего. Через несколько минут я пожал ему руку и тихо вышел».

Уже после отъезда Тютчева за границу, 31 августа, его дочь Екатерина писала своей тетке Дарье:

«Бедный папа! Он должен чувствовать себя таким одиноким теперь, и было бы счастьем, если мама смогла бы скрасить его жизнь своей привязанностью».

В следующем письме она говорит, что отец

«опасается при этом свидании некоторых царяпин... Я надеюсь и даже уверена, что мама будет чудесной с ним в этот тяжелый момент, прежде всего по доброте сердечной, а затем потому, что это как раз повод привязать его к себе сильнее и серьезнее, чем когда бы то ни было».

Через три недели после смерти Елены Александровны Тютчев приехал к своей старшей дочери Анне, находившейся в Германии, в Дармштадте. Она была потрясена его состоянием, несмотря на то, что едва ли не более всех осуждала его любовь:

«Папа только что провел у меня три дня — и в каком состоянии — сердце растапливается от жалости... — писала она сестре Екатерине. — Он постарел лет на пятнадцать, его бедное тело превратилось в скелет».

В следующем письме Анна говорит, что отец «в состоянии, близком к помешательству...». В это время в Дармштадте пребывал царский двор, с которым и приехала Анна, и ей было «очень тяжело видеть, как папа проливает слезы и рыдает на глазах у всех».

Прошло еще три с половиной месяца, и 20 января 1865 года Анна сообщает, что отец «безудержно... предается своему горю, даже не пытаюсь преодолеть его или скрыть, хотя бы перед посторонними». В марте — то есть через семь месяцев после своей потери — он встретится с Тургеневым, который вспоминал потом, как Тютчев «болезненным голосом говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокнутой от падавших на нее слез».

Все это подтверждает, что в письмах и стихотворениях поэта, говорящих о бездонности его горя, нет ни малейшего преувеличения. Он писал 8 декабря 1864 года поэту Полонскому — писал, не имея даже сил правильно выстроить фразу:

«...Что за этот бы день, прожитый с нею тогдашнею моею жизнью, я охотно бы купил, но ценою — ценою чего?.. Этой пытки, ежеминутно пытки — этого удела — чем стала теперь для меня жизнь... О друг мой Яков Петрович, тяжело, страшно тяжело».

Да, все, что мы знаем о жизни Тютчева в течение многих месяцев после смерти его возлюбленной, свидетельствует о безусловной жизненной (а не только художественной) правде его созданных тогда трагедийных стихотворений, вошедших в сокровищницу мировой лирики. Необходимо только сказать об одном мотиве, являющемся в этих стихотворениях.

Поэт и в стихах, и в письмах, и в разговорах беспощадно винил самого себя в гибели возлюбленной. Уже приводился рассказ Тютчева в письме к Георгиевскому (от 13 декабря 1864 года) о том, как он в свое время отказался исполнить просьбу Елены Александровны об издании книги его стихотворений с посвящением «Ей». Далее Тютчев писал:

«За этим последовала одна из тех сцен, которые все более и более подтачивали ее жизнь и довели нас — ее до Волкова поля, а меня — до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке... О, как она была права в своих самых крайних требованиях, как она верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при моем тупом непонимании того, что составляло жизненное для нее условие. Сколько раз говорила она мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, но что будет поздно. Я слушал и не понимал. Я, вероятно, полагал, что так как ее любовь была беспредельна, так и жизненные силы ее неистощимы, — и так пошло, так подло на все ее вопли и стоны отвечал ей этою глупою фразой: “Ты хочешь невозможного...”»

Георгиевский вспоминал:

«Тютчев жестоко укорял себя в том, что, в сущности, он все-таки сгубил ее и никак не мог сделать счастливой в том фальшивом положении, в какое он ее поставил. Сознание своей вины несомненно удесятерило его горе и нередко выражалось в таких резких и преувеличенных себе укорах, что я чувствовал долг и потребность принимать на себя его защиту против него самого...»

Но необходимо осознать, что это беспощадное, «неумолимо-отчаянное» самообвинение — высокая правда души поэта, трагическая правда, которая принадлежит только ему одному.

...Еще не прошло и года с начала его любви, впереди было тринадцать с лишним лет счастья и муки, а он уже написал:

О, как убийственно мы любим...

Тогда же, в 1851 году он создает стихотворение, воплощающее *ее* голос:

...Он жизнь мою бесчеловечно губит,  
Хоть, вижу, нож в руке его дрожит.

.....

Ох, я дышу еще, болезненно и трудно.  
Могу дышать, но жить уж не могу.

Так поэт видел тот «поединок роковой», который был для него явлением всеобщей трагедийности мира — мира, в котором его возлюбленная совершила свой подвиг

Весь до конца в отчаянной борьбе, —

борьбе и с ним самим, ее возлюбленным.

Но не могут вызвать сочувствия те рассуждения о последней любви поэта, в которых ему более или менее ясно бросается обвинение в том, что он четырнадцать лет «убивал» свою Елену Александровну, ибо не женился на ней. Это перенесение трагедийной темы в чисто «бытовой» план закрывает от нас ее глубокую суть.

Тютчев прямо и открыто говорил, что он сгубил свою Лелю, что это «должно было неизбежно случиться». Но в мире, где это совершилось для него, его вина была подлинно трагической виной, которая реальна не в рамках бытовой мелодрамы (а к ней нередко и сводят любовь поэта), но в русле бытийственной трагедий. Именно в такой трагедии он был участником и виновником, и ее дух сквозил для него в самых частных и самых прозаических подробностях быта.

Из тютчевских писем и стихотворений достаточно ясно вырисовывается, что трагедия — даже и не в смерти как таковой. Трагедия была с *самого начала*, ибо

Любила ты, и так, как ты, любить —  
Нет, никому еще не удавалось!

И в другом стихотворении — об ее подвиге, совершенном «до конца в отчаянной борьбе», о ней

Так пламенно, так горячо любившей  
Наперекор и людям и судьбе...

Трагедийна сама эта любовь в своей беспредельности, в своей беззаветности, неизбежно ведущей к гибели. Но в человеке нет ничего выше этого подвига «смертных сердец»; ведь даже

...олимпийцы завистливым оком  
Глядят на борьбу непреклонных сердец.

И смерть в тютчевском мире предстает, в сущности, как окончание, как *вытеснение* трагедии; остается только «страшная пустота», —

...мир бездушный и бесстрастный,  
Не знающий, не помнящий о ней.

И поэт молит о том, чтобы трагедия — *осталась*:

О, Господи, дай жгучего страданья  
И мертвенность души моей рассей:  
Ты взял *ее*, но муку вспоминанья,  
Живую муку мне оставь по ней, —

По ней, по ней, судьбы не одолевшей,  
Но и себя не давшей победить,  
По ней, по ней, так до конца умевшей  
Страдать, молиться, верить и любить.

Не только стихи, но и многие тогдашние письма поэта, обращенные к целому ряду людей, исполнены такой предельной откровенности, такой обнаженности души, которая вообще-то не была ему свойственна. В свое время дочь Анна записала о нем в дневнике:

«...Будучи натурой скрытной и ненавидящей все, что носит малейший оттенок сентиментальности, он очень редко говорит о том, что испытывает».

Теперь же поэт готов, кажется, до конца излить душу перед многими людьми.

Более того, впервые за четверть века с лишним (со времени кончины первой его жены) в нем пробуждается желание обратиться к церкви. Отношение Тютчева к религии и церкви было чрезвычайно сложным и противоречивым. Видя в христианстве почти двухтысячелетнюю духовно-историческую силу, сыгравшую громадную роль в судьбах России и мира, поэт в то же время пребывал на самой *грани* веры и безверия, что решительно отличало его от Гоголя, Достоевского и даже Толстого, который, при всем своем бунте против церкви, все же был безусловно верующим человеком.

Еще в 30-х годах Тютчев написал стихотворение (опубликованное лишь после его смерти), в котором сказано:

Мужайся, сердце, до конца:  
И нет в творении Творца!  
И смысла нет в мольбе!

В 1851 году, в одном из значительнейших своих стихотворений «Наш век», он говорит, что современный человек (то есть, конечно, и он сам, Тютчев) даже и

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,  
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:  
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!  
Приди на помощь моему неверью!..»

<...>

Покинув в 20-х числах августа Петербург, Тютчев приехал в Дармштадт, к Анне. Здесь он — очевидно, не без энергичного воздействия дочери, — все же решился обратиться за утешением к церкви — исповедаться и причаститься.

«Господь даровал мне великую милость, — писала Анна сестре Екатерине, — Он [отец] решился поехать в Висбаден говеть, чего не делал вот уже 26 лет...[26 лет назад умерла первая жена поэта, Элеонора]. Ах, помолитесь хорошенько за папу, чтобы Господь вырвал эту душу из мрака отчаяния. Он так нежен, так кроток, так разбит, что Господь Бог должен послать ему эту милость, эту Веру, которая поднимает и утешает. Молитесь, молитесь за него».

Однако на следующий же день Анна была вынуждена сообщить, что «папа не решился говеть, что он в состоянии, близком к помешательству, что он не знает, что делать».

5 сентября Тютчев приехал в Женеву, где его ждала Эрнестина Федоровна. По словам очевидицы, «они встретились с пылкой нежностью». Под воздействием этой встречи Тютчев на какое-то время не то чтобы успокоился, но словно бы примирился со своей страшной потерей. 15 сентября он в непривычном для него тоне пишет дочери Дарье, к которой он был наиболее близок душевно (о чем не раз сказал сам):

«Моя милая дочка, через несколько часов иду на исповедь, а затем буду причащаться. Помолись за меня! Попроси Бога ниспослать мне помилование, помилование, помилование. Освободить мою душу от этой страшной тоски, спасти меня от отчаяния, но иначе, чем забвением, — нет, не забвением... Или чтобы в Своем милосердии Он сократил испытание, превышающее мои силы... О, да вступится она сама за меня, она, которая должна чувствовать смятение моего духа, мое томление, мое отчаяние, — она, которая должна от этого страдать, она, так много молившаяся в своей бедной земной жизни, которую я переполнил горестями и скорбями и которая никогда, однако, не переставала быть молитвой, слезной молитвой перед Богом.

О, да дарует мне Господь милость, дозволив сказать через несколько часов с тем же чувством, с каким — я слышал, — она ясно произнесла эти слова накануне своей смерти: “Верую, Господи, и исповедую...”

Сегодня шесть недель, что ее нет...»

Дарья вместе с Екатериной приехала 28 сентября в Женеву, чтобы поддержать отца своим участием. На следующий день Екатерина писала тетке:

«Он говел, чувствует всю привязанность мамы к нему, глубоко заранее благодарен, но порой его душит невозможность делиться с ней воспоминаниями о столь недавнем прошлом...»

Однако это примирение с трагедией было недолгим. Тютчев даже не смог сохранить его видимость перед Эрнестиной Федоровной. Она рассказывала много позднее, что видела тогда мужа плачущим так, как ей никого и никогда не доводилось видеть плачущим. Но высота ее души была поразительной. «Его скорбь, — говорила она, — для меня священна, какова бы ни была ее причина».

6 октября поэт пишет Георгиевскому:

«Не живется, мой друг, не живется... Гноится рана, не заживает. Будь то малодушие, будь то бессилие, мне все равно... Только и было мне несколько отраднее, когда, как, например, здесь с Петровыми, которые так любили ее, я мог вдоволь об ней наговориться».

Речь идет о семье тогдашнего русского священника в Женеве, которому Тютчев как раз и исповедовался; может быть, поэт только потому и сумел это совершить, что имел дело с человеком, хорошо знавшим и ценившим Елену Александровну.

Проходит еще два месяца с лишним, и поэт 8 декабря пишет Полонскому:

«Друг мой, теперь все испробовано — ничто не помогло, ничто не утешило, — не живется — не живется — не живется... Одна только потребность еще чувствуется. Поскорее торопиться к вам, туда, где что-нибудь от нее осталось... меня тянет в Петербург, хотя и знаю и предчувствую, что и там... но не будет по крайней мере того страшного раздвоения в душе, какое здесь... Здесь даже некуда и приютить своего горя. Мне бы почти хотелось, чтобы меня вытребовали в Петербург именем нашего комитета» (Комитета цензуры иностранной).

Миновало уже около полугода со дня смерти Елены Александровны, а дочь поэта Анна сообщает сестре Екатерине, что он «безудержно... предается своему горю, даже не пытаюсь преодолеть его или скрыть... обижен на всех нас, и на меня особенно, за отсутствие сочувствия... Но встать на его точку зрения я не могу».

Несколько позднее Анна писала об отце, что «его горе, все увеличиваясь, переходило в отчаянье, которое было недоступно утешениям религией... Я не могла больше верить, что Бог придет на помощь его душе, жизнь которой была растрочена в земной и незаконной страсти». И Анна пришла к выводу, что теперь, после смерти Елены Александровны, поэту «самому недолго осталось жить».

Это было не только ее мнение. И во многих позднейших сочинениях о поэте годы, последовавшие за его страшной потерей, рассматриваются как неотвратимое умирание, чуть ли не как затянувшаяся агония, хотя дело идет ни много ни мало о девяти годах. Внимательное и объективное изучение жизни Тютчева в последнюю пору убеждает, что такое представление ложно. Конечно, это был эпилог его жизненной драмы, но эпилог по-своему не менее содержательный, не менее значительный, чем предшествующая судьба поэта.



Как это ни удивительно, даже в первый год после кончины Елены Александровны Тютчев, при всем своем безграничном отчаянии, продолжал мыслить, творить, действовать.

И можно утверждать, что Тютчева спасла от отчаяния его вера в Россию, вера, побуждавшая его к деятельности.

В конце ноября — начале декабря 1864 года Тютчев написал в Ницце полные безнадежного отчаянья стихи:

...Жизнь как подстреленная птица,  
Подняться хочет — и не может...  
Нет ни полета, ни размаху —  
Висят поломанные крылья,  
И вся она, прижавшись к праху,  
Дрожит от боли и бессилья...

Поэт посылает эти стихи Георгиевскому для опубликования в журнале «Русский вестник». А двумя днями ранее он пишет ему же:

«Одно только присуще и неотступно, это чувство беспредельной, бесконечной, удушающей пустоты».

Однако в том же самом письме, продолженном Тютчевым на следующий день, 12 декабря, он утверждает, что «одна только деятельность могла бы спасти меня — деятельность живая, серьезная, не произвольная...»

<...>

Уехав в конце августа 1864 года за границу, где он надеялся найти успокоение, Тютчев уже к началу декабря со всей остротой чувствует тоску по родине. Но в январе он тяжело заболел воспалением легких и только 26 марта 1865 года смог вернуться в Россию.

В Петербурге — что было естественно — его с новой силой пронзает память об ушедшей возлюбленной, и сразу же после приезда он создает одно из самых своих трагедийных стихотворений — «Есть и в моем страдальческом застое...».

Еще в декабре 1864 года Тютчев писал о владеющей им потребности «торопиться... туда, где еще что-нибудь от нее осталось, дети ее, друзья, весь ее бедный домашний быт, где было столько любви и столько горя, но все это так живо, так полно ею».

Дочь Тютчева и Елены Александровны, Елена, которой было уже около четырнадцати лет, находилась в частном пансионе; четырехлетний Федя и десятимесячный Коля жили у своей двоюродной бабки, А.Д. Денисьевой. Народное поверье, согласно которому беда не приходит одна, сбылось, и вскоре после возвращения Тютчева у Елены открылась скоротечная чахотка. 2 мая 1865 года она скончалась. На следующий день от той же болезни умер Коля. Всего год назад Тютчев каждый вечер ездил гулять на острова между Большой и Малой Невками с Еленой, которую, по словам Георгиевского, он «особенно любил и даже баловал вопреки иногда требованиям педагогики...».

Похоронив детей рядом с Еленой Александровной, Тютчев выражает свое душевное состояние в стихах, внешне сдержанных, но в которых он, пожалуй, единственный раз как бы отрицает весь мировой строй, вопрошая о том, отчего

...от земли до крайних звезд  
Все безответен и поныне  
Глас вопиющего в пустыне,  
Души отчаянной протест?

17 мая он пишет Георгиевскому, словно не имея сил прямо сказать о смерти детей.

«Последние события переполнили меру и довели меня до совершенной бесчувственности. Я сам себя не сознаю, не понимаю...»

Тютчев упросил дочь Анну взять к себе единственного оставшегося ребенка, Федю. Позднее он писал Анне, что передает ей «15 200 рублей из капитала, который... предназначаю для Феди... доход с него [капитала], 5½ процентов, будет идти на содержание

Феди в учебном заведении». Через неделю Тютчев пишет ей же об устройстве судьбы Феди<sup>1</sup>:

«Я, покидая этот мир, буду ощущать одним уколом совести меньше».

В течение нескольких месяцев после смерти детей Тютчев был снова погружен на самое дно отчаяния. 29 июня 1865 года он писал сестре Елены Александровны:

«...Не было ни одного дня, который я не начинал без некоторого изумления, как человек продолжает еще жить, хотя ему отрубили голову и вырвали сердце».

Ранее, 30 мая, он написал ответ на посвященное ему стихотворение Полонского, опубликованное в некрасовском «Современнике»:

Нет боле искр живых на голос твой приветный —  
 Во мне глухая ночь, и нет для ней утра...  
 И скоро улетит — во мраке незаметный —  
 Последний, скудный дым с потухшего костра...

Можно думать, что возвращение Тютчева к жизни совершилось во время поездки в родной Овстуг, куда он отправился 24 июля. Во всяком случае, возвратившись в сентябре в Петербург, он с присущей ему беспощадностью к себе пишет сестре Елены Александровны о своем посещении тетки покойной, Анны Дмитриевны:

«...Я пил у нее чай... как во время оно. Жалкое и подлое творенье человек с его способностью все пережить».

Поездка в Овстуг в 1865 году не могла не быть впечатляющим событием для поэта. Будучи погружен в захватывавшую его политическую деятельность и, кроме того, не желая расставаться с Еленой Александровной, Тютчев не был на родине восемь лет, с 1857 года. И месяц в Овстуге, по-видимому, сыграл целительную роль.

Дорогой, 3 августа Тютчев создает одно из высших своих творений, названное им очень просто: «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.». Утром он выехал из Москвы в Овстуг по Калужской дороге. По всей вероятности, вечером, пока на одной из станций перепрягали лошадей, он пошел вперед по дороге. Это было привычно для тогдашних путешественников (так часто поступал и Пушкин) — отправиться пешком после утомительных часов в коляске, которая потом догоняла путника.

Скорее всего так и было: Тютчев шел по дороге, и в такт шагам — что ясно чувствуется в ритмике стихотворения — сами собой слагались строки:

Вот бреду я вдоль большой дороги  
 В тихом свете гаснущего дня...  
 Тяжело мне, замирают ноги...  
 Друг мой милый, видишь ли меня?  
 Все темней, темнее над землею —  
 Улетел последний отблеск дня...  
 Вот тот мир, где жили мы с тобою,  
 Ангел мой, ты видишь ли меня?  
 Завтра день молитвы и печали,  
 Завтра память рокового дня...  
 Ангел мой, где б души ни витали,  
 Ангел мой, ты видишь ли меня?

Подобно многим другим высшим созданиям поэта, перед нами не столько стихотворение о скорбном событии в жизни Тютчева — годовщине смерти Елены Денисьевой, — сколько само это *событие*. Стихи не рассказывают о том, что пережил Тютчев 3 августа в дороге между Москвой и Овстугом, но являют собой *само* это переживание

<sup>1</sup> Федор Федорович Тютчев стал офицером и военным писателем, участвовал в русско-японской и первой мировой войнах, за храбрость был награжден многими боевыми орденами и именным Георгиевским оружием. Умер полковник Тютчев после тяжелых ранений в 1916 году, в прифронтовом госпитале.

как таковое. Они предстают в качестве естественной формы, органического воплощения этого переживания, а не как вторичное «отражение» чего-то, совершившегося в иной форме. И в этом тайна гениального обаяния и силы внешне «бесхитростного» стихотворения. Шаги поэта затерялись на дороге где-то между Москвой и Калугой, но событие, свершившееся там, нетленно.

В сравнении со стихами о смерти возлюбленной, созданными поэтом ранее, в 1864–1865, — «О этот Юг, о, эта Ницца...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Есть и в моем страдальческом застое...», «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...» и других, — в стихотворении «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.» звучит мелодия скорбного примирения.

<...>

## Глава двенадцатая. Смерть и бессмертие

<...>

Первые признаки надвигающегося удара появились еще 4 декабря 1872 года. 11 декабря Эрнестина Федоровна писала брату:

«Несколько дней назад его левая рука... перестала ему повиноваться настолько, что он, сам того не чувствуя, роняет взятые ею предметы. Затем ему вдруг стало трудно читать, так как буквы сливались в его глазах».

Как рассказывает Аксаков, доктора «советовали ему тишину, спокойствие, рекомендовали поменьше читать и думать... Но Тютчев не уступал, упорно пытался жить, как жилось ему прежде и как не мог он иначе жить... он не хотел признавать власти недуга над своим умом и дарованиями».

И все окружающие не сомневались, писал Аксаков, что «главной причиной удара были стихи по случаю кончины Наполеона, сочиненные им».

Французский диктатор умер в изгнании 28 декабря 1872 года. Получив известие об этой смерти, Тютчев тут же захотел выразить свои мысли в стихах.

«Но, – свидетельствует Аксаков, – к его смущению и ужасу — стихи не выходили, не повинвались ни звуки, ни рифмы. Страшно напряглись его силы; он одолел-таки добровольно заданную им себе работу...»

Рука уже совсем плохо подчинялась поэту, и он 30 декабря продиктовал стихи жене, а на следующий день сам отнес их в редакцию еженедельного журнала «Гражданин».

1 января 1873 года поэт, рассказывает Аксаков, «несмотря ни на какие предостережения, вышел из дому для обычной прогулки, для посещения приятелей и знакомых... Его вскоре привезли назад разбитого параличом. Вся левая часть тела была поражена, и поражена безвозвратно».

Однако, когда всего через день, утром 3 января Аксаков приехал к Тютчеву, тот, «бегло сказав о себе: “Это начало конца...”, сейчас же пустился говорить о политике, о Хиве, о Наполеоне...»

<...>

Эрнестина Федоровна почти не отходила от мужа все 195 дней, которые он прожил после 1 января. Тютчева, несомненно, мучило сознание неизгладимой вины перед ней. Аксаков писал 6 января:

«Вчера он приобщился... Не знали, как приступить, но... дело обошлось гораздо проще. При первом намеке, брошенном Эрнестиной Федоровной вчера утром, он охотно согласился; послали за священником».

Затем он, «позвав жену, при всех сказал: вот у кого я должен просить прощения, — и нежно ее обнял несколько раз». В феврале — по-видимому, в день сорокалетней годовщины их первой встречи — поэт написал (стихи были записаны дочерью поэта Дарьей):

Все отнял у меня казнящий Бог:  
Здоровье, силу, волю, воздух, сон,  
Одну тебя при мне оставил Он,  
Чтоб я Ему еще молиться мог.

16 февраля Эрнестина Федоровна, сообщая Анне, что ежедневно читает мужу газеты, вместе с тем выражала свою заветную надежду:

«Болезнь будет иметь ту положительную сторону, что вернула его на религиозную стезю, оставленную им со времен молодости... Он с жадностью слушает те несколько евангельских глав, которые я ему ежедневно прочитываю, а сиделка... говорит, что у них по ночам бывают очень серьезные религиозные разговоры».

1 апреля в Москве родился первый внук поэта, названный в честь деда Федором (в семье сына Тютчева и Эрнестины Федоровны — Ивана). 2 апреля Тютчев продиктовал телеграмму:

«Спасибо... за внука... Я уже более не *предпоследний*, от всей души принимаю на себя восприимство новорожденного».

<...>

Дней за шесть до смерти он хотел передать какое-то соображение, пробовал его высказать и, видя неудачу, промолвил с тоской:

«Ах, какая мука, когда не можешь найти слова, чтобы передать мысль».

Тогда же Тютчев воскликнул:

«Я исчезаю, исчезаю!»

В ночь с 12 на 13 июля, рассказывал Аксаков, «лицо его... видимо, озарилось приближением смертного часа... Он лежал безмолвен, недвижим, с глазами, открыто глядевшими, вперенными напряженно куда-то, за края всего окружающего с выражением ужаса и в то же время необычайной торжественности на челе. “Никогда чело его не было прекраснее, озареннее и торжественнее...” – говорит его жена...»

<...>